



**От издателя**

В этой книге автор предлагает свой энергичный и во многом нестандартный подход к изучению иностранных языков. Он описывает целый ряд несложных языковых приемов, значительно ускоряющих запоминание иностранных слов, понимание грамматики, включение в иностранную разговорную речь, а также психологических приемов, резко повышающих концентрацию внимания при чтении любых иностранных текстов. Книга адресована читателям любого возраста, интересующимся способами эффективного и увлекательного изучения одного или нескольких иностранных языков.

Издательства: Лениздат, Союз, 2001 г.  
 Мягкая обложка, 192 стр.  
 ISBN 5-289-02009-8, 5-94033-088-6  
 Тираж: 5000 экз.  
 Формат: 84x108/32

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Предисловие** ..... 2

**Глава 1. Это меня поразило**  
 (16 языков за полгода... в заточении).....2

**Глава 2. Это меня вдохновило**  
 (20 языков интенсивно... между делом)..... 11

**Глава 3. И я начал действовать**

- Как я искал подходы к иностранному языку.....17
- Как я научился... не замечать своих ошибок,  
 но также и тщательно их отслеживать..... 20
- Какие приемы я использовал для развития разговорных навыков в английском и немецком языках..... 21
- Как я усвоил грамматику этих языков..... 25

**Глава 4. Наша память – так ли много от нее зависит при изучении иностранного языка?**

- Как я решил проблему своей недостаточной памяти..... 28
- Моя техника запоминания. Как я научился усваивать иностранные слова в необходимом количестве..... 29
- Как я покончил со своей невнимательностью и научился быть предельно сосредоточенным на конкретной информации.....37
- Какие еще приемы я использовал для активного внедрения в иностранный язык..... 39

**Глава 5. Где я нашел свободное время для самостоятельного интенсивного изучения иностранного языка.**  
**Моя «машина времени»** .....51

**Послесловие** .....58

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга — не учебник и не справочник по иностранному языку. Она — результат поисков ответа на актуальный вопрос: как овладеть иностранным языком (любым) самостоятельно, быстро и с удовольствием.

Размышляя о различных способах изучения иностранного языка, я долго пытался найти самый лучший, самый надежный и короткий путь изучения. Но со временем начал понимать, что такого универсально-идеального пути нет, да и быть в принципе не может. А что же есть? Есть немалый арсенал методов и приемов, облегчающих и ускоряющих изучение языка и даже превращающих это занятие из весьма трудоемкого и для многих почти бесконечно длительного в достаточно быстрое, приятное и неожиданно увлекательное.

В этой книге я представляю читателю целый ряд таких методов и приемов. Они входили в мой обиход произвольно и постепенно. Об одних я узнавал из различной литературы и при этом часто старался как-то их видоизменить, приспособить к своим задачам и возможностям, другие же сами складывались на основе личного практического опыта изучения языков. Некоторые из них (и они особенно пришлись мне по душе) я назвал «маленькие хитрости». Впрочем, когда я сам стал применять их регулярно и «со вкусом», то они вскоре обеспечили мне отнюдь не маленький, а вполне заметный и впечатляющий эффект. В сущности, это те психологические опоры и рычаги, с помощью которых можно воспринимать и усваивать информацию более цепко, активно и, что немаловажно, с несравненно большей радостью и даже азартом, нежели традиционно-учебным путем.

К написанию этой книги меня и подтолкнула моя собственная озадаченность в недалеком прошлом вопросами оптимальной техники изучения иностранного языка. Столкнувшись тогда с тем фактом, что книжные магазины и библиотеки заполнены всевозможными учебниками иностранных языков, но при этом в них абсолютно отсутствуют какие-либо пособия, популярно излагающие конкретные способы рационального, творческого и интенсивного изучения этих самых языков, пособия, с ознакомления с которыми и надо бы, по логике вещей, начинать изучение любого языка, я и поставил перед собой цель в некоторой мере восполнить этот пробел.

В этой книге я попытался неформально и, по возможности, непринужденно (что, на мой взгляд, только и может обеспечить ненавязчивую подачу во многом личностного материала) рассказать о своем опыте изучения иностранного языка (английского, а затем немецкого), показать без прикрас возникавшие на этом пути трудности, осечки и даже почти тупиковые ситуации, но также и реальные, иногда довольно необычные способы их преодоления. Я попытался как бы изнутри, через свои эмоции и размышления, отразить в чем-то интимный процесс самостоятельного познания языка, и особенно процесс приобщения к высокому интеллектуальному и духовному наслаждению, которое, как я думаю, и обусловило в конечном счете успех моего самообучения.

Автор

## Глава 1. ЭТО МЕНЯ ПОРАЗИЛО. (16 языков за полгода... в заточении)

*Where there's a will, there's a way.  
Где есть воля, там есть и путь.*

На протяжении довольно продолжительного времени — десятка лет с лишним — я неоднократно пытался вновь и вновь браться за изучение иностранного языка — того самого английского, который изучал когда-то в школе, затем в вузе, но потом, как водится, окончательно забыл (если еще и было, честно говоря, что забывать).

Однако все эти попытки были хотя и упрямые, но неумелые: я это делал как-то бессистемно, анархично. Изучение же языка требует не только упорства, но также планомерности и системности и, кроме того, знания некоторых психологических приемов эффективного восприятия информации. Вот как раз последние, о которых и пойдет речь в этой книге, я опытным путем постепенно все-таки нащупал, вывел для себя и, главное, стал достаточно целеустремленно использовать при дальнейшем самостоятельном изучении языка. Применением этих простых, во многом чисто житейских приемов в сочетании с рядом других факторов, о которых здесь также будет рассказано, и сдвинуло тогда мою «лингвистическую телегу» с мертвой точки, придав ей в дальнейшем энергию и нарастающую силу.

Тогда же, в начале пути, я действовал, скорее, наскоком, по принципу: «Главное — ввязаться в драку, а там видно будет». Но проходили месяцы и даже годы, а «видно» почему-то не становилось. Мне это стало уже напоминать известный эффект движения к горизонту: сколько к нему ни иди, никогда ни только не достигнешь, но и ни на шаг не приблизишься. В такой бесперспективной, тупиковой ситуации надо было предпринять что-то радикальное. И я решил для начала обратиться к опыту людей, блестяще решивших аналогичную проблему. При этом меня особенно интересовали те люди, которые быстро и успешно изучали иностранный язык (или языки), не будучи сами профессиональными лингвистами и филологами.

Мне повезло: роясь как-то в своей домашней библиотеке, я наткнулся на полузабытый двухтомник воспоминания выдающегося русского народовольца, ученого и просто героического человека Николая Александровича Морозова «Повести моей жизни». Еще в ранней юности, читая эти книги, я был поражен

необычайной судьбой и самой личностью Николая Морозова. Но тогда я практически не обратил внимания на те страницы в воспоминаниях, где автор рассказывал о примененном им радикальном способе изучения иностранных языков. Теперь же, внимательно перечитав эти страницы, я был не просто удивлен, а прямо-таки восхищен и даже шокирован эффективностью, скоростью и доступностью данного способа. И я решил тотчас взять его на вооружение, что — скажу, забегая вперед, — и помогло мне уже вскоре выйти, наконец, из моего языкового тупика. Однако прежде чем изложить здесь суть этого метода и свой опыт по его использованию, я хочу кратко напомнить читателю о некоторых трагических особенностях жизни Николая Морозова, поскольку именно им, этим роковым особенностям, он, как это ни странно, и был во многом обязан столь необычному и интенсивному приобщению к иностранным языкам. И не только к языкам, а еще к очень и очень многому. Сын богатых родителей (отец — дворянин, помещик, мать — мещанка), Николаи Морозов (1854-1946) провел безмятежное детство в родовом имении в Ярославской губернии. Приехав затем в Петербург для продолжения образования, он с блеском закончил университет по естественнонаучному отделению. Его ожидала хорошая карьера столичного ученого, университетского профессора. Но, увлекшись в 1870-е годы революционными идеями, он тесно связал свою жизнь с террористическими группами народолюбцев, готовившими покушение на Александра Второго. Будучи впоследствии арестованным и приговоренным к пожизненному заключению, Морозов был брошен в одиночную камеру самой мрачной политической тюрьмы России — в Петропавловскую крепость, позже переведен в Шлиссельбургскую. Так он оказался один на один, можно сказать, с гамлетовским вопросом: «Быть или не быть?», но только доведенным до крайней своей заостренности: «Жить или не жить?» Тюремщики издевались над узниками (а с Морозовым по одному и тому же делу сидели десятки людей), месяцами цинично морили голодом, очевидно добиваясь как бы естественной смерти. У Морозова развились и стали быстро прогрессировать самые тяжелые заболевания: стенокардия, туберкулез, цинга, нервное истощение и другие. Однако человек решил жить — вопреки всем ужасам, вопреки, казалось бы, уже самой смертью проштампованной судьбе. И началась беспрецедентная борьба. Полуживой скелет, он не мог вставать с тюремной койки, ноги опухли — цинга и ревматизм. Тюремный врач уже отметил в лазаретном журнале, что жить Морозову осталось считанные дни. Но он встал. У него не было другого выхода — он решил клин вышибать клином, памятью, быть может, шекспировскую мысль, что отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства или никакие. Первые дни смог простоять на ногах, корчась от нестерпимой боли, лишь по несколько секунд, затем, уже даже приплясывая на еще полумертвых ногах, больше и больше. Ноги стали разрабатываться, кровоток в них оживился, болезнь повернула вспять и постепенно отступила. Еще более жестким и каким-то неправдоподобным на первый взгляд способом он справился и с другой страшной, совершенно неизлечимой тогда болезнью — чахоткой (туберкулезом). Уже кровь шла горлом, легкие гнили, смерть опять стояла у изголовья. И снова Морозов, загнанный в угол неумолимой дамой в саване, противопоставил ей свою непреклонную волю к жизни: вновь применил принцип «клин — клином». При кашле идет все больше крови? Значит, кашлять нельзя. Подавить кашель, во что бы то ни стало. И Морозов из последних сил затыкает себе рот тюремной подушкой или просто рукой, задыхаясь и едва не теряя сознание, но с каждым разом все успешнее подавляя приступы кашля, а тем самым и болезненный процесс в легких. Так была побеждена чахотка (правда, далеко не сразу — эта борьба не на жизнь, а на смерть длилась многие годы), а также целый ряд других болезней.

Через несколько лет Морозов окреп настолько (благодаря также и ежедневным физическим упражнениям в камере), что перед ним встал другой вопрос: жизнь свою он спас, но ради чего теперь жить? Ведь пожизненное заключение лишало узника всякой надежды, сводило с ума. Но не Морозова. Он верил, что когда-нибудь выйдет отсюда, Он понимал, что убийственной духовной пустоте и умственному расслаблению, которые коварно подтачивали психику, необходимо было противопоставить мощную и непрерывную интеллектуальную нагрузку, работу ума и души. Пищу и неограниченный материал для этого могла дать только наука. И Морозов решает заняться изучением едва ли не всех основных наук — высшей математики, физики, химии, астрономии, истории и других. Тюремщики к тому времени несколько ослабили свою мертвую хватку по отношению к заживо погребенным политическим узникам, скорее всего, просто махнули на них рукой — позволили, например, пользоваться довольно богатой тюремной библиотекой (в Шлиссельбургской крепости) и получать книги от родственников и друзей с воли.

Обгоняя события, хочу сказать, что напряженные занятия наукой в тюрьме действительно спасли Морозова, уберегли его от неминуемого умственного угасания, очень укрепили его мозг, усилили веру в себя. Проведя в тюрьмах более 25 лет, он вынес оттуда огромный запас духовной энергии и энциклопедические знания. Удостоенный за многочисленные научные изыскания и открытия звания академика, он прожил долгую и плодотворную жизнь, став воистину *self made man* (человеком, сделавшим себя).

Но теперь назад, к той теме, ради которой я и рассказываю здесь об этой феноменальной личности, — к иностранным языкам. Дело в том, что, поставив перед собой большую цель — серьезно взяться за науки, Морозов понял, что без знания языков он не преуспеет ни в одной из них, так как не сможет следить за передовой научной мыслью в мире с помощью хотя бы журнальной периодики. Владея на данный момент лишь французским и как биолог имея познания в латинском, он решил изучить основные европейские и некоторые восточные языки. И вот поразительно: за полгода изможденный узник в мрачной камере изучил на хорошем уровне 16 (!) языков.

Читателю, конечно же, не терпится узнать ответы как минимум на два вопроса. Первый, недоуменный: как же ему это удалось? И второй, пожалуй, грустный: почему же нынешние школьники, студенты и все желающие изучать языки не могут, как правило, достичь даже 1/16 результата Морозова, то есть изучить хотя бы один иностранный язык? И пусть не за две, три или четыре недели, как это удавалось ему, а «всего лишь» за два, три или четыре месяца, да что там... хотя бы за десять — двенадцать месяцев. И возможно ли это в наших условиях? Ответы на эти вопросы — и достаточно обнадеживающие — читатель скоро получит. Для начала же

давайте посмотрим, как просто и захватывающе интересно рассказывает об этом сам Николай Морозов. Привожу здесь довольно длинную выдержку из его воспоминаний — она стоит того.

«Измученный от хождения, я сел перед своим железным, прикованным к стене столиком на такой же железный стул своей камеры.

«Пришлите мне самоучитель немецкого языка»,— написал я своим друзьям...

И мои тайные корреспонденты тотчас же мне прислали учебник Больца, составленный по методу Робертсона, а я, по обыкновению бросив все остальное, принялся за него. Мне очень понравилась система Робертсона, снабжающая вас лишь самыми краткими грамматическими правилами. Она заставляет вас немедленно читать на изучаемом вами языке какой-нибудь занимательный рассказ, не утомляющий вас бесполезным копанием в словаре. Робертсон тут же, на каждой странице, дает вам подстрочный перевод читаемого, и вы находите вверху урока все нужные слова с необходимыми объяснениями. А я еще более упростил этот способ, не вытверживая значения слов, а удовлетворяясь пониманием их смысла в самом тексте. Я переходил к чтению следующего урока сейчас же, как только был способен без запинок прочесть текст предыдущего и понимать его содержание, закрыв подстрочный перевод.

Так я проходил по пяти и даже десяти уроков в день, занимаясь часов по двенадцать в сутки. Через неделю учебник был уже закончен, и я сейчас же принялся за чтение на немецком языке сначала романов Шпильгагена, потом сказок Андерсена и романов Ауэрбаха. Словарем я почти не пользовался. Взяв роман, я вполголоса читал его от начала до конца, стараясь понимать лишь смысл прочитанного и догадываясь, по возможности, о значении неизвестных мне слов во фразах, прямо по смыслу уже известных.

Когда я кончил, таким образом, свой первый немецкий роман "DURCH NACHT ZUM LIGHT" («Из мрака к свету»), который еще гимназистом читал в русском переводе и потом забыл, я только смутно понял его содержание в деталях и сейчас же начал читать снова. При втором чтении я уже уяснил себе половину фраз, а при третьем — почти всё.

Тогда я принялся за новый роман, и уже при втором чтении понял ясно во всех главных деталях. После этого я прочел по два раза еще романов десять. Я без труда узнал из них значение большинства немецких слов и следующие романы, повести и сказки читал уже только по одному разу.

Так в один месяц упорного немецкого чтения по целым дням и совершенно исключив всякие другие занятия, я научился немецкому языку и в то же время доставил себе развлечение чтением его литературных произведений, интересовавших меня и своим содержанием. И как часто мне было жалко от души нашу молодежь, которую заставляют изучать языки зубристикой слов и целых больших грамматик, а не этим простым, легким и занимательным процессом прямого и чрезвычайно интересного чтения!

Еще легче научился я затем таким же способом английскому языку и даже настолько удовлетворительно усвоил (посредством придуманных мною звуковых аналогий) произношение незнакомых мне чисто английских звуков, указанное у Больца значками, что когда потом попал в Англию, то меня там все хорошо понимали и понадобилось лишь отшлифовать свой говор.

Через две-три недели после того, как я в первый раз увидел английский учебник, я уже читал запоем романы лучших английских писателей на их родном языке и даже осилил затем и Вальтера Скотта и Макдональда с шотландскими выражениями, пестрящими у них, как украинские у Гоголя.

Потом я изучил также по Больцу и таким же способом итальянский язык и прочел на нем Сильвии. Елико, Мацони и ряд присылавшихся мне друзьями театральные либретто, так как других итальянских книг нигде тогда в России не оказалось.

Потом я принялся за испанский язык, считая его очень важным на случай путешествия в Центральную или Южную Америку. Но никакого учебника испанского языка на русском языке тогда не было, Мне достали его с большим трудом на французском. Но, выучив его, я прочел по-испански только «Дон-Кихота», единственную испанскую книгу, нашедшуюся в России.

По французской пословице "L'appetit vient en mangeant" («Аппетит увеличивается по мере того, как едят»), я захотел выучить также шведский и голландский языки, но сама русская действительность положила предел такому неумеренному продолжению моей лингвистической линии поведения. Мои друзья на воле не смогли раздобыть в России ни одного экземпляра учебников этих языков и ни одной шведской или голландской книги! И это было к счастью для меня, так как я только даром потерял бы время. Для поддержания знания какого-либо языка, даже своего, родного, нужно время от времени иметь практику. Иначе его слова начнут одно за другим забываться вами. Правда, забвение никогда не окажется полным. Отголоски забытых слов навсегда останутся у вас где-то в глубине бессознательного, и, начав вновь систематически читать на забытом языке, вы легко припомните его ступавшиеся слова, как я много раз замечал на себе самом.

Но все же для неспециалиста в лингвистике совершенно невозможно поддерживать в себе постоянное знание более чем трех иностранных языков, и потому для русского обывателя волей-неволей приходится ограничиваться лишь английским, немецким и французским, как обладающими самой богатой научной и изящной литературой.

Впоследствии мне пришлось совершенно запустить все редкие, когда-то изученные мною в темнице языки, в том числе и польский, выученный позднее, и сохранить способность к чтению без словаря лишь на упомянутых трех благодаря тому, что я прочел на каждом из них не менее нескольких сот томов беллетристики, не говоря уже о мелких статьях в научных и литературных журналах, которые приходится читать на них и теперь».

Первый вывод из всего этого отрывка напрашивается сам собой. И он — парадоксальный. Оказывается, в высшей степени неблагоприятные условия тюрьмы создали для Морозова, как это ни странно, хорошие предпосылки для плодотворнейшей интеллектуальной работы. Действительно, где еще можно было по двенадцать часов ежедневно заниматься языками без всяких отвлечений и развлечений, когда голова работает сосредоточенно и продуктивно? Увы, только в тюрьме, только с огромными морально-психологическими издержками и с бесконечной борьбой за свое физическое выживание. Но Морозов, с его характером и волевыми

качествами, сумел, очевидно, и эту борьбу превратить в источник постоянной духовно-энергетической подпитки ума и тела. Полуголодный, ослабленный многочисленными болезнями человек, сидя на железной табуретке при тусклом свете мерцающего огарка, работает самозабвенно и без усталости, не изнуряя себя при этом, а, словно Феникс из пепла, восставая к жизни вновь и вновь.

*Догорает свеча, догорает,  
А другого светильника нет!  
Пусть мой труд остановки не знает,  
Пока длится мерцающий свет!  
Пусть от дремы, усталости, скуки  
Ни на миг не потускнет мой взгляд,  
Пусть мой ум, мое сердце и руки  
Сделать все, что возможно, спешат.  
Чтоб во сне меня мысль утешала,  
Что последняя вспышка огня,  
Угасая во мраке, застала  
За работой полезной меня!*

Это любимые строки Морозова, которые он не раз повторял в камере.

Другой вывод, который мы можем сделать из вышеприведенного отрывка — и он для нас самый актуальный, — состоит в несомненной реальности и доступности описанного Морозовым сверхинтенсивного метода изучения иностранных языков. Разберем основные элементы этого метода.

Сначала Морозов знакомился (заметим, не слишком уж подробно и основательно) с учебником или самоучителем по избранному языку. Но — и в этом, на мой взгляд, один из главных секретов его успеха — тут же шел дальше, не пытаясь особо закрепить пройденный материал, даже если тот был усвоен не слишком твердо.

Далее. Знакомство с языком происходило комплексно, хотя это и делалось только на книжном уровне. Познание лексики Морозов старался не отделять от познания грамматики. Он следовал мудрому принципу подлинно эффективного изучения языка: ни в коем случае не учить грамматические разделы в отрыве от немедленного практического их применения (так же, как, к примеру, изученная математическая формула, чтобы стать достаточно прочно усвоенной, должна быть тут же «обкатана» в дюжине различных уравнений). И еще: Морозов, похоже, самостоятельно пришел к важному выводу о том, что теория должна не только изучаться одновременно с практикой, но и, насколько возможно, должна выводиться из практики, то есть из активной и творческой работы с книгой, с текстом.

Итак, бегло, но, судя по всему, цепко проштудировав учебник, Морозов уже более или менее проникался духом нового для него языка. Проложив по целине этого языка свою первую колею, он тут же двигал по ней главные силы, выводил на передовые рубежи всю мощь своего интеллектуального оружия и приступал к массивному чтению беллетристики. При этом старался брать наиболее увлекательные сюжеты, что помогало преодолевать не только трудности языка, но и усыпляющую монотонность многочасового чтения. Художественное произведение — это уже не учебник. Здесь нет разъяснений, правил, подстрочных переводов, зато всегда есть опасность, едва сделав первый шаг, споткнуться, запутаться в непролазных джунглях незнакомых слов и речевых оборотов. Немного отступая от темы, замечу: многие из нас именно на этом, самом трудном, этапе не выдерживают перегрузок (кстати, имеющих в основном психологический характер) и сходят с дистанции. Острые колючки чуждой нам лексики и всей языковой архитектоники при чтении ежеминутно травмируют, парализуют нашу волю к дальнейшему продвижению вперед, выполняя тем самым свою коварную миссию — надолго отбивают охоту к чтению иноязычных текстов. А отсюда уже один шаг и вообще до отвращения к иностранному языку. И это удел не только слабовольных и пассивных людей, привыкших лишь к облегченно-комфортабельному потреблению информации и не приспособленных к утомительному, в чем-то болезненному процессу познания. На этом этапе «ломаются» достаточно трудолюбивые люди, отнюдь не «белоручки» умственного труда. Но отчего же, в сущности, это происходит?

Именно этот-то вопрос я настойчиво и задавал самому себе в тот период, когда искал подходы к реальному и более или менее интенсивному овладению иностранным языком. Ведь чтобы бороться с противником (даже если он кроется во мне самом), надо сначала его определить, назвать. И вот когда мои размышления соприкоснулись со столь удачным и столь благотворно воздействующим на душу и разум опытом Морозова, я получил наконец ответ на этот почти мистический вопрос. Ответ пришел в виде простой, давно известной истины: "Fear has magnifying eyes" («У страха глаза велики»). Да, именно страх, этот сильнейший и древнейший инстинкт, не только оберегает человека от всевозможных напастей, но подчас тормозит, сковывает его развитие. Вот и в нашем случае человек, читая впервые иностранный текст, с каждым новым абзацем испытывает все больший дискомфорт от своей беспомощности и уже скоро — как правило, на первых же страницах, погружаясь все глубже в пучину полного непонимания смысла читаемого, — начинает испытывать страх перед своей, как ему кажется, очевидной и фатальной бездарностью. А мы, как известно, очень ревниво относимся к своим способностям и вообще интеллектуальным возможностям, хотя даже сами себе не всегда любим признаваться в этом, наоборот, предпочитаем иной раз пококетничать: «Ах, что-то память у меня плохая» или «Ох, что-то я не соображаю сегодня». Когда же дело доходит до реального столкновения наших способностей с твердым, неподатливым материалом и оказывается (точнее, нам так кажется), что способностей по данному предмету у нас маловато, то вот здесь-то нам делается не по себе, и этот страх — узнать о собственной персоне больше правды, чем хочется, да еще такой нелюбезной — и заставляет нас лихорадочно искать выход из

создавшейся ситуации. И как водится, мы его быстро находим: «Да ну его, этот текст, займусь-ка я лучше чем-нибудь другим». И можно с грустью подытожить: очередное наше благое намерение тихо скончалось. И все же посмотрим, так ли уж на самом деле безвыходна ситуация с чтением иноязычного текста, когда мы еще совсем или почти совсем не знаем слов и грамматики? Вернемся к Морозову. Что он сделал в такой же ситуации? А он не стал слишком критически оценивать свои способности. Не понимал содержания, не знал еще слов? Ну и ладно. Он читал дальше. При этом смысл, хотя бы примерный, каких-то отдельных слов или их элементов (корней, приставок) наверняка все же высвечивался — за счет интернациональных слов или связей со знакомыми ему латынью и французским. Наводили на мысль также названия, имена и даты плюс, конечно, неплохо помогала и обостренная интуиция самого читателя, а все это, вместе взятое, было для него уже кое-что. Но, безусловно, самым главным «пробивным» фактором здесь был могучий, вдохновенный, в чем-то даже спортивный порыв и натиск: вперед, только вперед — к финишу, at any price (любой ценой), невзирая ни на какие трудности и издержки. Фактически работа с книгой (а это была, особенно на первых порах, тяжелая, изнурительная работа по решению уравнений почти со всеми неизвестными) двигалась поначалу — во всяком случае, при первой читке — на одном голом энтузиазме, так как в самом деле нельзя же почувствовать сильнейший интерес и получить удовольствие от еще почти не понятого содержания книги, даже если она очень хорошая. И так, энтузиазм. Но не только. Морозов пишет, что, читая, он почти не пользовался словарем. А почему? Ведь так удобно: открыл словарь, нашел слово — все ясно, читаю дальше. Но удобство в данном случае, да как и во многих других, не означает разумности. Сама жизнь помогла Морозову нащупать наиболее продуктивный метод изучения иностранных языков. Он постиг ту истину, что знание, добытое легко и просто, не может стать знанием «всерьез и надолго», что только тяжелая распахка целины, с потом и мозолями, даст надежный и быстрый результат. И он начал читать почти без словаря, опираясь на свою эвристичность, на догадку по смыслу, по контексту. О, эта великая штука контекст (contextum — «связь», «соединение» — лат). Сколько сведений в жизни мы черпаем очень часто из контекста, не задумываясь об этом. Так, отталкиваясь от небольшого фрагмента какой-то информации, мысленно достраивая, дополняя его, мы восстанавливаем, реконструируем почти все недостающие детали. Собственно, это одна из фундаментальных особенностей человеческого мышления: сопоставлять и сравнивать, фантазировать и прогнозировать. В случае же с иностранным языком, с чтением нового и непростого текста, работа с контекстом происходит едва ли не на последнем пределе возможностей к догадке, к домыслу. Л назвал бы это даже неким лингвистическим нахальством — в самом лучшем, одобрительном, значении. Пристальное вглядывание, вчитывание, вдумывание в текст, даже если они сразу не приносят ощутимого результата (Морозов честно признает, что после первого такого «прочтения» книги он почти не улавливал ее содержания), все-таки дает некоторый языковой опыт, дает ощущение, я бы сказал, аромата, мелодики и ритма данного текста, а также ощущение наших крепнущих с каждой перевернутой страницей волевых качеств, нашей решимости непременно и любой ценой разгадать очередную языковую головоломку. Здесь уместна некоторая аналогия с большим и сложным для восприятия музыкальным произведением, например с симфонией. Если, положим, ее слушает человек, не владеющий даже музыкальной грамотой, да к тому же слушает впервые, то может оказаться, что он не поймет и не примет ее как «свою» музыку. И сколько бы не пришлось потом убеждать этого человека в выдающихся достоинствах симфонии, он останется равнодушен. И есть только один способ для него стать настоящим ценителем данной симфонии: он должен дать себе труд, может быть, даже на первых порах заставить себя, как ни странно это звучит, прослушать эту симфонию несколько раз в течение относительно короткого промежутка времени, чутко вслушиваясь в каждую музыкальную тему, в каждый аккорд да и в каждый звук, подключая к этому как свои эмоции, так и свой разум. И только после такой большой духовной и волевой работы наш слушатель, даже если раньше он был не очень склонен к серьезной музыке, может признаться: «Вот это моя музыка, это моя симфония, она великолепна, оказывается!» По этому поводу еще великий грек Демокрит мудро заметил: «Прекрасное постигается путем изучения и ценой больших усилий». Кстати, как раз это обстоятельство во многом и повинно в том, что в истории, например той же музыки, немало казусов было связано именно с первым исполнением произведений даже самых гениальных композиторов: публика (заметим, достаточно искусшенная публика) с первого раза не понимала, точнее, не успевала просто вникнуть и прочувствовать все великолепие новорожденной музыки и потому не принимала ее.

Итак, на начальном этапе работы с художественным произведением, в нашем случае — с иноязычным текстом, зачастую требуется и «власть над собой употребить». Иными словами, стоит только начать, преодолеть первый, для многих самый тяжелый, порой невыносимый этап, после чего колесница нашего познания, переваливаясь на ухабах, все увереннее покатит, а затем, набирая скорость, понесется уже сама собою, требуя для своего движения все меньше внешних усилий. "It is the first step that costs " («Только первый шаг стоит усилий»), как говорят англичане, или, по-нашему: «Лиха беда начало». Да, такова нехитрая технология зарождения интереса почти к любому делу (разумеется, в том случае, если он не возник изначально и самопроизвольно): сначала попытаться активно вызвать его в себе путем настойчивого многократного восприятия информации, а затем уже более мягко стимулировать и поддерживать на необходимом уровне.

К тому же если удалось успешно проскочить этот самый неприятный участок от «надо» к «хочу», то тогда и внимание к изучаемому предмету перейдет из стадии произвольного, то есть волевого, к желанной стадии непроизвольного, самого эффективного. При использовании Морозовского метода чтения внимание, и особенно такая его характеристика, как концентрация, то есть способность к сосредоточению своих мыслей на каком-либо объекте, играет решающую роль. Ведь малейшее отвлечение грозит здесь разрывом и без того крайне тонкой смысловой ниточки читаемого, можно даже сказать исследуемого текста, грозит потерей сюжетной линии. И напротив, если удастся предельно собранно работать над текстом, поначалу вылуцывая из него лишь отдельные зернышки смысла, то мы решим главную на этом этапе задачу: постепенно выявим и определим русские значения некоторых (сперва хотя бы некоторых) иностранных слов. Не зря говорят: «Внимание — это ворота памяти». И поистине прав был мудрец, заметивший: «Герой тот, кто непоколебимо сосредоточен».

Собрать, предельно сосредоточить мысли в необходимый момент на необходимой информации и удерживать их в таком состоянии (*quantum satis* — столько, сколько потребуется — лат) — это труднейшая, но, как мы видим на примере Морозова, осуществимая задача. Читатель может возразить, что Морозову-то в его одиночной камере не так сложно было сосредоточиться на работе с текстом. Нам же в сегодняшней напряженной и светлой жизни намного труднее. В некоторой степени читатель будет прав. Во всяком случае, когда я взялся читать-изучать иноязычный текст по-морозовски, одна из главных проблем, которую мне пришлось преодолеть с изрядным напряжением и волевыми, и других своих, в общем-то не слишком выдающихся, качеств, состояла как раз в том, чтобы хоть на час-другой забыть обо всем, уединиться, отрешиться, поселить в своей душе такую почти первозданную тишину и умиротворенность и тогда уже углубиться в щекотливый процесс распутывания неподатливого клубка из чужеродных слов и грамматических конструкций.

Да, Морозову не надо было производить такую «хирургическую» операцию по удалению из своей души излишнего балласта посторонних мыслей, звуков и соблазнов. Но и не будем все же забывать, что он пребывал отнюдь не в санатории, а каменный мешок одиночной камеры плюс абсолютная неизвестность своей дальнейшей участи, надо думать, не так уж сильно располагали к творческой, интеллектуальной работе. Но он же смог! Вероятно, ему удалось абстрагироваться от тяжелых условий тюремного существования, избавиться от своей первоначальной внутренней тревожности, ведущей к нервному и психическому кризису, а в итоге и к гибели, чего, кстати, не удалось избежать очень многим его товарищам по заключению. Как говорил еще Марк Аврелий: «Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности». Именно так, очевидно, и поступил Морозов, сумевший в результате глубокой внутренней переоценки ценностей преодолеть зависимость от жестких, убийственных обстоятельств внешней среды и целиком отдаться своей внутренней жизни, миру конструктивных грез — погрузиться в стихию познания.

Характерно, что, приступая к изучению очередного иностранного языка, он сразу, без раскачки, брал максимальный темп и шел уже в этом темпе до победного конца. Возможно, что максимализм этот как в языках, так и в научных занятиях проистекал от незыблемой уверенности на глубинном, каком-то даже физиологическом уровне в его истинности, в его наивысшей эффективности, оттого, что Морозов уже испытал недавно на собственном организме необыкновенные возможности экстремальных напряжений и нагрузок (когда победил смертельные болезни именно такими максималистскими, запредельными методами). И, осознав их всеисиле, решил теперь использовать это и в интеллектуальном труде. И не ошибся. Впрочем, на первый взгляд может создаться впечатление, что, занимаясь по 12 часов в сутки, Морозов гнался исключительно за количеством читаемых текстов, при этом не очень заботясь о качестве их усвоения. Действительно, скорость и соответственно количество поглощаемого материала у него были огромны, но ведь читал-то он не ради чистого слайдинга — скольжения взглядом по строчкам и страницам без всякого понимания смысла текста (хотя это тоже, как считают современные лингвисты, бесполезное занятие на начальном этапе изучения языка), — читал каждую книгу три или хотя бы два раза подряд. Значит, он извлекал из нее необходимое для себя в данный момент количество информации, которое постепенно, но довольно быстро переходило в качество, то есть в знание. Срабатывал универсальный закон перехода количества в качество.

Однако и у Морозова этот закон срабатывал не сразу на 100%. Как мы помним, он указывает в своих воспоминаниях, что, читая роман во второй раз, он уже понимал содержание его «ясно во всех главных деталях». Но ведь даже главные детали — это еще далеко не все содержание. Правда, известно, что обычно в среднем тексте содержится лишь 20-25% полезной, то есть необходимой для передачи основного смысла, информации, остальное — подробности и повторы уже сказанного. Но, с другой стороны, также известно, что именно подробности отражают душу произведения, придают ему неповторимый колорит, ведь не зря говорят, что в подробностях — бог жизни. Поэтому читать роман и не понимать, не улавливать подробностей — занятие не самое приятное. Решиться на него может человек лишь с очень твердой и конкретной целью: читать пока не для души, а только для головы, то есть ради познания, ради изучения. Морозову же сильно помогала при этом его «скорострельность»: он даже первое, самое тяжелое, чтение книги проскакивал стремительно, на одном дыхании, просто не успевая, наверное, сильно расстроиться по поводу почти непонятного содержания.

Но какой же урок из этого можем извлечь мы? Ведь для большинства из нас благотворная реализация закона перехода количества в качество в его штурмовом, Морозовском, варианте, к сожалению, недоступна. Из крайне недостаточного количества проработанного нами материала {текстов} никак не может родиться новое качество. Напротив, чаще всего происходят огорчительные откаты наших скромных познаний назад, поскольку старая, более или менее усвоенная информация забывается быстрее, чем успевает поступить новая. Но где же нам взять столько усердия и прилежания, а главное, столько времени, ну хотя бы половину, хотя бы треть того, что посвящал изучению языков Морозов?

Вот и этот вопрос, пожалуй один из самых горячих для наших дней, Я тоже не сразу смог решить в тот период, когда загорелся идеей изучить иностранный язык «по Морозову». Но постепенно, раздумывая и над своей жизнью, и над опытом людей, уже решивших для себя данную проблему, я начал понимать и, более того, стал наконец использовать некоторые «тайные пружины» человеческой психологии, позволившие и мне со временем стать несколько другим человеком — как в отношении работоспособности, так и вообще образа жизни. Мне удалось сделать свою жизнь, во всяком случае ее учебно-познавательную половину, в чем-то более продуктивной и рациональной и в результате осуществить за относительно короткий срок то, о чем раньше не мог далее мечтать, точнее, мечтать-то мечтал, но не видел реальных способов исполнения своей мечты. Но обо всем этом речь пойдет еще впереди, так как столь животрепещущий для нас вопрос должен быть рассмотрен отдельно и обстоятельно. Сейчас же хочу лишь заметить, что наши как физические, так и интеллектуальные ресурсы еще далеко не исчерпаны даже в нынешнее сверхнасыщенное и уплотненное время. Чтобы эти ресурсы выявить и заставить работать на себя — я здесь имею в виду только сферу самообучения иностранным языкам, — надо, во-первых, очень сильно этого захотеть, во-вторых, научиться иногда смотреть на себя и на свою жизнь отстраненно, как бы со стороны, сопоставляя ее с жизнью других, желательно творческих и

неординарных личностей, и, в-третьих, не помешает воспользоваться — для начала и хотя бы отчасти — теми психологическими и техническими приемами и принципами, которые будут изложены в последующих главах. Впрочем, извиняюсь за это небольшое отступление от основной темы. Вернемся же опять к нашему «счастливейшему из узников», как я называю Николая Морозова, и к его системе самообучения.

В своих воспоминаниях Морозов довольно скупо излагает собственные подходы к изучению языков — помимо уже приведенного здесь отрывка во всем его двухтомнике имеется еще лишь два-три небольших высказывания на эту тему. Но эта его скупость вполне оправдана и понятна, т. к. изучение языков было для него хотя и бурным, но кратковременным и далеко не самым важным событием в его тюремном существовании, если учесть всю его последующую гигантскую научную работу. Поэтому нам теперь и приходится кое о чем лишь догадываться, кое-что даже прочитывать между строк. Но в общем и целом картина вырисовывается вполне ясная.

Что же еще интересного и полезного мы можем подметить в методе Морозова? Читатель, конечно, обратил внимание в приведенном отрывке на то, что первые свои иноязычные романы Морозов читал вслух вполголоса. Может показаться, что он делал это только ради вслушивания в звучание непривычных иностранных слов и звуков для отработки какого-никакого произношения. Однако и здесь Морозов оказался мудрее и дальновиднее, его опыт и интуиция подсказали ему правильный путь. Дело в том, что в психологии давно известно такое понятие, как «синестезия», обозначающее комплексное восприятие информации с помощью различных органов чувств. Доказано, что чем больше органов чувств участвует в восприятии какой-либо информации, тем лучше и быстрее она усваивается и закрепляется. Если мы, к примеру, смотрим на цветок, дотрагиваемся до его лепестков и ощущаем (слышим) его аромат, то все эти три чувства (зрение, осязание и обоняние) способствуют созданию в голове конкретного и живого образа цветка. То же самое происходит и при работе с текстами, только здесь основные органы чувств, участвующие в восприятии, — зрение и слух, хотя для лучшего проникновения в суть читаемого желательнее подключать путем воображения и остальные органы чувств.

Когда мы в детстве учимся читать на родном языке, мы чаще всего читаем вслух, как бы взвешивая и ощупывая каждый звук и каждое слово. Но когда же дело доходит до изучения иностранного языка, мы стараемся читать иноязычные тексты уже в основном про себя, наверное, полагая, что к своим 10-12 годам мы уже стали очень взрослыми и потому читать вслух нам как-то несолидно. И все-таки, как лишний раз подтверждает опыт того же Морозова, читать вслух при изучении языка очень полезно в любом возрасте — во всяком случае на начальных этапах изучения. Ведь информация при этом поступает в мозг сразу через два канала — через глаза и уши — и потому запечатлевается там как бы стереоскопично, в объеме, а значит, и более надежно. Впоследствии у кого-то уже на второй-третьей книге, у кого-то — на третьей-четвертой (здесь все индивидуально) чтение вслух можно прекратить, так как оно уже выполнило свою полезную функцию и теперь может стать лишь помехой для возрастающей скорости чтения.

Нередко мы слышим жалобы, да и сами к ним охотно присоединяемся, на чудовищно сложную для русского языка и уха английскую фонетику. У людей, приступающих к изучению английского, уже заранее наготове комплекс предубеждений перед предстоящими фонетическими вывертами-ухищрениями с «кашей во рту». Считается, что английский можно изучать только с преподавателем или, по крайней мере, с аудио- и прочей техникой. Однако и здесь блестящий и убедительный опыт Морозова призывает нас поверить в собственные силы даже в таком утонченном занятии, как самостоятельное усвоение и отработка английского произношения из сухой теории, как говорится, *ex libris* (из книги — лат). Вспомним его слова: «Еще легче научился я затем таким же способом английскому языку и даже настолько удовлетворительно усвоил (посредством придуманных мной звуковых аналогий) произношение незнакомых мне чисто английских звуков, указанное у Больца значками, что когда потом попал в Англию, то меня там все хорошо понимали и мне понадобилось лишь отшлифовать свой говор».

Вот ведь как! Ведь можно же, значит! Причем можно не только самому овладеть произношением, но можно, оказывается, и как бы «вдруг» заговорить на языке, на котором до этого ты только читал, то есть не имел никакого практического разговорного опыта. Заговорить, наверное, не слишком бегло и не с идеальным выговором, но это уже, что называется, дело наживное. Да, все это так. Но не будем и забывать одну «маленькую» деталь: Морозов за десятки лет тюремной жизни и затем на свободе прочитал, как он сам указывает, сотни томов художественной и специальной литературы на английском и других языках, создав тем самым гигантскую базу, мощнейший плацдарм для перехода к новому состоянию; от пассивного читателя к активному «говорителю», собеседнику. Выйти на эту новую, более высокую орбиту ему оказалось совсем нетрудно, но это, повторяю, стало возможным лишь при наличии великолепно подготовленных стартовых позиций. Для нас же, с нашими куда более скромными объемами чтения иноязычной литературы, этот морозовский путь плавного, мягкого вхождения в живую речь, казалось бы, заказан. Однако не будем спешить с выводами, не будем лишать себя надежды, памятуя, что языки — сфера очень многоплановая и разнородная, богата не только скрытыми каверзами, но и неожиданными приятными сюрпризами.

Конкретно же на этот вопрос — как нам все-таки более или менее гармонично переходить от чтения к живой речи — я остановлюсь специально, да и вообще по всем следующим темам этой книги будет проходить — напрямую или косвенно — важнейший для нас вопрос: как быстрее и лучше научиться включаться в иноязычную речь, как от восприятия информации переходить к ее воспроизведению.

Теперь пришло время рассказать читателю о моем собственном опыте использования морозовской системы. Как я уже упоминал, после моего неожиданного знакомства с этой своеобразной системой я решил тут же стать ее активным последователем. Я достал довольно толстый английский роман и приступил к чтению. Роман я намеренно взял такой («Робинзон Крузо», Д. Дефо), который я раньше читал как минимум раза три по-русски и знал его содержание почти как свою биографию. Тем самым я хотел немного облегчить себе задачу.



Итак, со словарем на столе, но по-морозовски почти им не пользуясь, с одним энтузиазмом наперевес я бросился в атаку — покорять практически незнакомый мне язык (в моем арсенале на тот момент было не более двух-трех сотен английских слов и самое поверхностное представление о грамматике еще из старых школьных запасов). Но, как пишут в тех старых романах — «увы и ах!» — должен сразу признаться: победных реляций «с поля боя» не последовало. Моего энтузиазма хватило на... 9-10 страниц, дальше — смысловой мрак и полный тупик. Я перестал даже примерно улавливать развитие сюжета по тексту. Настроение, помню, хоть и не очень сильно, но испортилось. Такого неожиданного неуспеха в самом начале своего самостоятельного лингвистического пути — и это на гребне-то увлечения морозовской системой — я не ожидал. Что ж, утешиться можно было, пожалуй, лишь известной всем истиной: "You must spoil before you spin" («Первый блин комом») и смириться с фактом, что и мой случай не стал исключением из этой невеселой закономерности.

Но что же мне теперь было делать? Похоронить свою надежду, полностью отказавшись от столь многообещающего, хотя и не самого простого метода? Я уже был близок к этому — ну, не биться же головой о стену. Напоследок, как бы прощаясь со своей мечтой, решил еще раз перечитать те страницы воспоминаний Морозова, которые совсем недавно вызвали у меня такой прилив оптимизма и уверенности в самостоятельном и сверхскором изучении английского. Неудивительно, что теперь они мне стали казаться уже довольно субъективными и даже чуть ли не вымышленными (заработала, очевидно, типично обывательская психология: если у меня это не получается, значит, это неправильно, и вообще этого не может быть). Однако вера в дела и идеи героического узника, в чем-то даже моего кумира, а также не совсем еще угасший наступательный запал, наверно, и спасли от крайности — я не отказался от метода Морозова напрочь как от любопытного, но непригодного для себя лингвистического казуса. Справившись со своим разочарованием, я стал искать причину неудачи и вскоре понял, что таковых даже как минимум три. Первая: у меня не было в активе, как у Морозова, знания французского и латыни. Вторая: я физически не имел возможности заниматься по 12 часов в сутки. И третья: мои способности, в том числе память, вероятно, тоже оставляли желать лучшего.

Поразмыслив над этими своими слабостями, я решил пойти на компромисс: взять из морозовской системы те элементы, которые я мог бы реально использовать. И как в дальнейшем показала жизнь, я принял тогда верное решение — если крепость нельзя взять лобовой атакой и с первой попытки, то это еще не значит, что полководец бездарный, а крепость неприступна.

Перечитав Морозовские страницы, я особо обратил внимание на строки, где автор с каким-то поразительно-вдохновляющим, просто завораживающим оптимизмом говорит о своей системе и в то же время с нескрываемым сожалением — о молодежи, которую «заставляют изучать языки зубристикой слов и целых больших грамматик, а не этим простым, легким и занимательным процессом прямого и чрезвычайно интересного чтения!». Вот тебе раз! Оказывается то, чего я не выдержал и от чего уже почти хотел отказаться, было «очень простым, легким и занимательным процессом»! Ну, нельзя после таких слов оставаться равнодушным к изучению иностранного языка в Морозовском варианте. Так и хочется тут же засучить рукава и вновь сесть за книгу. А если опять не пойдет так, как хотелось бы, значит, надо что-то изменить, как-то приспособиться, но в целом следовать духу и основным принципам системы.

И еще один утешительный для себя вывод я сделал из вышеприведенного абзаца: ведь если Морозов откровенно жалеет молодежь, которая не изучает языки «простым и легким» способом, то, значит, он... более или менее трезво оценивая способности людей к языкам, так же как и свои собственные, считает, что данный метод действительно не является сколько-нибудь сложным и не требует, например, исключительной памяти. Внимания? Да. Чем больше, тем лучше. Волевых усилий? Да. Особенно поначалу, и следовательно, любой человек — и не только в тюрьме, но, конечно, и на воле — может воспользоваться этим методом.

И вот я вновь пошел на штурм якобы неприступных бастионов — английский роман был опять открыт на 9-й странице, там, где я «поплыл» в первый раз. Но теперь я шел в бой не с голыми руками — наготове держал пару хороших словарей и хотя нечасто, но периодически их использовал. На этот раз дело пошло. При всем том повторяю, что я и теперь старался понимать содержание, опираясь больше на догадку по контексту, чем на подглядывание в словарь. Таким путем я при первом чтении уловил содержание романа, как и Морозов, довольно смутно (точнее говоря, смог лишь очень приблизительно «расшифровать» английский текст хорошо знакомого мне сюжета), со второго раза — чуть лучше, с третьего — еще лучше. Но "The best is oftentimes the enemy of the good" («Лучшее часто враг хорошего»). Мне хотелось большего. Хотелось свой первый английский роман в подлиннике понять на все 100%, что, конечно, было с моей стороны более чем наивно. Это неумное стремление к идеалу опять едва не погубило мое начинание. Когда я прочел роман в четвертый раз и увидел, что до полного — буквального — понимания текста мне еще далеко, настроение вновь упало ниже нулевой отметки. Я опять забалансировал на грани срыва. Однако на этот раз я быстрее смог взять себя в руки, сообразив, что ведь, в сущности, иначе-то и быть не могло, так как английскую грамматику я знал еще более чем смутно, а речевые обороты и идиоматические выражения были для меня и вовсе темным лесом. И все-таки при всех еще моих слабостях и недостатках первая moral victory (моральная победа) была одержана.

Далее я прочел таким же образом, то есть по несколько раз подряд и с упорством и въедливостью, мне до этого не свойственными, целый список произведений на английском: рассказы, сказки, приключенческие и детективные романы. Так, постепенно (а это заняло у меня времени, естественно, в несколько раз больше, чем аналогичное по объему чтение у Морозова, — 5-6 месяцев, так как я мог посвящать английскому не 12 часов, а лишь 3-4 часа в сутки, что для меня тогда тоже было неплохо) я не только значительно увеличил свой словарный запас и познания в грамматике, но и вывел для себя некоторые полезные методические закономерности, которые приоткрыли мне глаза на процесс обучения языку и очень помогли в дальнейшем. Благодаря применению морозовского метода, хотя и в моем, немного облегченном, варианте, я уже на собственном опыте увидел, что информация усваивается быстрее и надежнее не путем топтания на месте или медленного продвижения вперед, необходимого якобы для осмысления материала, а путем относительно быстрого продвижения (например, безоглядного прочитывания нескольких страниц или глав, даже если их

содержание еще далеко не стало понятным), затем возвращения на исходный рубеж и опять интенсивного пробега по уже чуть-чуть знакомой «местности» и вновь возвращения к началу и вновь наступления. При этом процесс познания идет как бы по спирали, и каждый новый виток поднимает нас на более высокий уровень. Психологически этот эффект можно объяснить так: наш мозг даже при ускоренном восприятии информации успевает «схватить» и частично обработать эту информацию на глубинном уровне, нами почти не осознаваемом. Нам при этом кажется, что мы вообще ничего не успели понять и запомнить. Но вот при последующих повторениях выясняется, что с каждым разом текст становится для нас все доступнее и понятнее, а читать его все легче. И еще: при таких постоянных рывках вперед и возвращениях назад мы все время и как бы невольно вступаем в конфликт, входим в противоречие с новым, незнакомым материалом, так как еще не чувствуем себя достаточно подкованными в старом. Это ощущение противоречия поначалу, с непривычки, довольно неприятно и действует угнетающе, но при некоторой настойчивости, и я бы даже сказал чувстве здорового цинизма к собственным негативным эмоциям, вполне преодолимо, тем более если мы хорошо осознаем всю пользу такого процесса. А польза-то здесь налицо, потому что с каждым новым возвращением назад (звучит немного странно, но, по сути, очень точно: возвращение действительно получается как бы «новым» — ведь известно, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды) мы несколько по-иному, по-новому видим материал (текст). При втором-третьем прочтении текста в таком «джоггинговом» режиме он поворачивается к нам своими новыми гранями, и мы начинаем различать в нем незамеченные (или непонятые) ранее штрихи и детали. Резюмируя данный прием, я бы образно охарактеризовал его суть почти в виде афоризма: «Лучше плохо бежать, чем хорошо ползти».

Из системы Морозова я сделал для себя и другой полезный вывод: необходимо хоть немного познакомиться с латынью, ведь латинский язык — это фундамент и прародитель большинства европейских языков. И так же как, скажем, музыканту необходимо знать как минимум несколько десятков музыкальных терминов на итальянском языке (анданте, адажио, скерцо и др.), так же и нам, изучающим иностранные языки, не мешает иметь некоторое представление об одном из самых древних и мудрых языков — о латыни. Иногда латинский называют мертвым языком. Я бы назвал его, наоборот, вечнозеленым. Да и может ли быть мертвым язык, которым продолжают пользоваться? Ведь на нем и сейчас говорят в католическом мире, и не только в Ватикане. И главное — это язык науки, литературы, язык традиций. Да и вообще, ежели из многих современных европейских языков убрать всю их латинскую основу (корни, окончания, целые слова и выражения), то что останется от их богатого лексикона?

Итак, что же я сделал для своего приобщения к латыни, хотя и довольно поверхностного? Я достал самый краткий учебник латинского языка и опять-таки по-морозовски бегло его проштудировал, даже не столько проштудировал, сколько просто про смотрел, хотя и с пристрастием. Я не стал разбирать выдержки из речей Цезаря, Петрония и Саллюстия, приведенные в учебнике, не стал вникать в тонкости грамматики. Зато обратил внимание на красоту и музыкальность латыни, но больше всего — на ее общность с русским, точнее говоря, на степень ее воздействия на русский язык. Оказалось (для меня, во всяком случае, это было небольшое, но важное открытие), что в русском языке латинских — по происхождению — слов достаточно много — гораздо больше, чем я подозревал, и многие из них хорошо узнаваемы как таковые, при некотором минимальном навыке, разумеется.

Русский язык, сформировавшийся много веков спустя после распада Римской империи, впитал в себя соки прекрасной латыни через посредство западноевропейских языков. И даже уже в наше время «золотая», как ее называют, латынь, словно свет давно угасшей звезды, освещает наш родной язык, обеспечивая ему духовное родство с некогда великой и просвещенной античной цивилизацией да и внешне придавая ему дополнительную величавость, напевность, пожалуй, даже определенную изысканность и эстетичность. Когда-то один старинный русский литератор\* образно заметил: «Французский язык течет как река. Латинский льется как тонкий пламень». Недурно сказано, не правда ли?

Для того чтобы немного почувствовать аромат и музыку латыни, совсем не обязательно заканчивать классическую гимназию или самостоятельно заучивать сотни и тысячи латинских слов. Для начала достаточно лишь научиться в русском языке распознавать слова латинского по их характерным корневым частям или окончаниям (вот, например, типичные латинские окончания (существительных): ум (ем), ус (юс), р, т, а (я), и (я), н, ее), а также по их мягкости и благозвучию — даже для не слишком искушенного уха. Слова эти часто и являются той «палочкой-выручалочкой», той общедоступной международной языковой прослойкой, которая облегчает нам понимание основных европейских языков. Наугад, для примера, приведу всего несколько обрусевших латинских слов, коих общее число в нашем родном языке несметно, и это еще без учета специальной медицинской, биологической, юридической и прочей научной лексики, нашпигованной латинскими терминами, как южное ночное небо — звездами. Вот они, эти наши родные русские латинские слова: аквариум, максимум, линолеум, гладиолус, радиус, корпус, полюс, профессор, доктор, лектор, оратор, мажор, минор, лабиринт, момент, континент, проспект, корона, фортуна, астрономия, аудитория, лекция, грация, церемония, премия, вулкан, орден, прогресс, процесс и так далее.

Постепенно и непринужденно приобщиться к латыни лучше всего можно, пожалуй, через разнообразные латинские поговорки и афоризмы. Их можно легко найти в энциклопедиях, в соответствующих сборниках и, конечно, в произведениях русских классиков (Л. Толстого, И. Тургенева и др.). Именно так я тогда и поступил: стал впитывать латынь (то же самое могу сказать и о другом великом античном языке — древнегреческом) через лаконичные образцы ее изящных и мудрых духовных перлов. Это занятие мне впоследствии так понравилось, что я как-то незаметно составил собственный довольно обширный словарь греко-латинских крылатых выражений и отдельных слов. И с тех пор этот мой личный «золотой запас» античной словесности не только играет в моей жизни роль лингвистического помощника, посредника, но наряду с некоторыми любимыми шедеврами искусства и литературы (нашего времени) выполняет даже и практически-житейскую функцию: в трудные минуты жизни помогает успокоиться, вспомнить о вечных ценностях, о преходящести всех горестей и

тревог, ну а в хорошие минуты добавляет к мироощущению немного высокой радости и свежих красок. И за это тоже спасибо древним, но процветающим языкам. Как, кстати, и современным — но об этом речь впереди. Подытоживая рассказ о незаурядной системе изучения языков Н. А. Морозова, отмечу еще раз основной ее стержень или рычаг, применение которого (но применение творческое, без слепого подражания) является залогом успеха при использовании всей системы. Сам Морозов сказал о ней очень просто и, пожалуй, упрощенно (чисто психологически его можно понять — ведь любая задача или проблема, успешно нами решенная, кажется нам в итоге совсем простой): «А система моя заключается в следующем. Сейчас же после краткого обзора грамматики читать как можно больше иностранных романов». Но мы-то знаем, что на самом деле за этой внешней простотой скрывалась немалая волевая и интеллектуально-духовная работа. Начиная читать сразу «настоящие», неадаптированные произведения, Морозов намеренно и отважно шел на обострение, на конфронтацию с незнакомым и еще практически недоступным для понимания текстом и при этом — вот она, изюминка или, если угодно, главный «секрет» его системы — он не смущался тем, что поначалу мог получить нулевой или почти нулевой результат. Он понимал, конечно, что под этим «нулем», как корешки под растрескивающимся асфальтом, зрели уже будущие роскошные плоды его языковых познаний. Ведь этот «нуль» был не чем иным, как уже некоторым результатом, хотя еще и скрытым, невидимым, промежуточным. Многие же из нас изучают иностранный язык, к сожалению, по ложному принципу: «Всё или ничего». Не получив быстрого и впечатляющего результата, мы или прекращаем дальнейшие усилия, теряя всякий энтузиазм, или ищем какие-то новомодные курсы и методы, полагаясь в основном уже не на свои, а на чьи-то посторонние (если не сказать — потусторонние) силы и способности. По аналогичному поводу еще А. Эйнштейн метко заметил: «Я очень хорошо понимаю, почему многие любят колоть дрова: тут сразу виден результат». При изучении языка очень важно не гнаться за моментальным результатом, и даже временный неуспех, каким бы обескураживающим он не был, воспринимать спокойно и с пониманием того, что дело все-таки движется, результат подспудно вызревает и может проявиться уже вскоре, причем либо быстро и скачкообразно — при усиленных занятиях (как у Морозова), либо более медленно и плавно (как у тех, кто не может столь бурно форсировать обучение).

В конце этой главы хочу заметить, что, хотя метод Морозова и был достаточно успешно мной реализован, все же рекомендую этот довольно трудный и психологически тяжелый способ в чистом его виде всем без исключения я бы не рискнул. Да и вообще говоря, как бы ни был хорош и эффективен какой-либо метод или прием, он никогда не сможет удовлетворить абсолютно всех, так как у каждого из нас СБОИ характер, темперамент, склад ума, свои привычки. Поэтому я и предлагаю дальше в этой книге целый набор как своеобразных творческих приемов, так и несложных вспомогательных «технических хитростей», среди которых любой желающий, вероятно, сможет найти что-то подходящее и для себя. Все эти приемы и способы в той или иной степени применял и я сам — зачастую параллельно с методом Морозова, — когда и поскольку надо было как-то компенсировать свой извечный недостаток времени и языковых способностей.

## Глава 2.

### ЭТО МЕНЯ ВДОХНОВИЛО.

#### (20 языков интенсивно... между делом)

*Every man is the blacksmith of his fortune.  
Всякий человек своему счастью кузнец.*

Метод Николая Морозова придал мне уверенности, удвоил, утроил мои силы и возможности в изучении иностранного языка, показал, как надо внедряться, вгрызаться, вчитываться в книгу на практически незнакомом еще языке. Я стал быстро продвигаться вперед. И все же я понимал, что надо применить еще какие-то дополнительные способы, чтобы наряду с активным восприятием книжного, письменного языка можно было бы столь же успешно развивать и разговорные навыки. Поскольку я и не мог и не хотел дожидаться самопроизвольного возгарания своих способностей, то есть ожидать перехода количества усвоенных через чтение знаний в новое качество — в способность к разговорной речи, — то я решил попытаться «поджечь свечу» и с другого конца. Для этого мне требовался такой же эффективный и, следовательно, такой же напряженно-волевой метод — я что называется, начал входить во вкус.

И вот в результате некоторых размышлений и поисков он был найден — метод Генриха Шлимана. Это достаточно старый и в общем-то довольно известный метод. Во всяком случае более известный, чем морозовский, хотя и почти столь же редко в полном своем объеме применяемый по причине вполне понятной, житейской: и этот метод работает не «по щучьему велению», а требует сперва напряжения и большой самоотдачи и только тогда уже дает мощный эффект и в качестве, и в скорости изучения языков. Здесь я хотел бы отметить, что, разумеется, оба метода были не Морозовым и Шлиманом «изобретены» в XIX веке а что, конечно же, многие и многие поколения до них пользовались аналогичными способами и их разновидностями. Но нас здесь не интересует приоритетность этого вопроса — откуда и когда началось интенсивное обучение языкам, Нам известны два ярких и характерных представителя эффективного и скоростного самообучения — будем же далее для удобства так и называть эти методы: «морозовский» и «шлимановский».

Итак, познакомившись подробнее с новым для себя методом, я стал его активно, насколько удавалось, применять. Поскольку же я применял его зачастую наряду с морозовским, а также и параллельно с другими способами, то и результат не заставил себя ждать. Прежде чем перейти к описанию самого метода и его использования мною, я хочу предельно кратко напомнить читателю историю жизни Шлимана, этого необыкновенного человека,

феноменального самоучки, к которому так же, как и к Морозову, в полной мере относится определение *"self made man"*.

Родился Генрих Шлиман в 1822 году на севере Германии в небогатой семье сельского пастора. И скорее всего была ему судьбой уготована безвестная жизнь рядового немецкого бюргера, если бы в силу своей необычайной фантазии, в силу своей влюбленности в мир книг и особенно в чудесную древнегреческую мифологию не увлекся бы он страстно еще в совсем юные годы идеей о раскопках-поисках древнего города Трои и несметных сокровищ царя Приама. Для осуществления этого грандиозного дела необходимы были как огромные денежные средства, так и большие познания: кроме истории и археологии надо было изучить ряд древних и современных языков. После окончания школы Шлиман устроился работать мелким служащим в банковскую контору. Оказавшись без всякой родительской поддержки, испытывая жестокую нужду, он, не теряя времени, приступил к изучению иностранных языков, понимая, что они ему потребуются также и для избранной им карьеры купца, международного коммерсанта. Часто ютясь в неотапливаемых мансардах, живя впроголодь, он половину своего скудного жалованья тратил на книги и учебники.

Первым всерьез изучаемым языком стал, как это ни странно было после окончания гимназии, его *Muttersprache* — родной немецкий: Шлиман решил избавиться от своего нижненемецкого диалекта и перейти к правильному литературному языку. Это удалось сделать без особого труда, так как жил он в то время уже в Голландии, где ему приходилось много общаться с образованными соотечественниками-немцами. Но и не только за счет этого: ведь уже тогда, на самом первом этапе приобщения к самостоятельным занятиям практической лингвистикой (кстати, учась в гимназии, Шлиман был еще равнодушен к языкам), он уже начинает все более целеустремленно применять свою, в высшей степени эффективную систему изучения языков. С каждым годом эта система становилась все совершеннее и изощреннее, точнее говоря, не сама система, а ее применение — оно делалось все более виртуозным. Так, если на изучение своих первых иностранных языков — английского и французского — Шлиман затрачивал по несколько месяцев на каждый, то в дальнейшем на изучение, например, сразу двух языков одновременно — польского и шведского — он потратил всего 24 дня!

Как он и надеялся, языковые занятия очень помогли ему в делах коммерческих — ведь сам процесс овладения языками обостряет память, приучает к пунктуальности, к терпению, учит полагаться на собственные силы и личную инициативу. Но, кроме того, знание основных мировых языков принесло и непосредственный практический результат: Шлиман стал читать иностранную экономическую прессу и, значит, был теперь всегда в курсе текущих событий в сфере мировой экономики и торговли, что часто помогало ему принимать правильные решения. Работая позже коммерческим представителем крупных фирм в разных странах, он должен был вести обширнейшую переписку со множеством своих партнеров. А поскольку в коммерции скорость получения информации и ее точность играют важную роль — для заключения выгодной сделки, например, — то понятно, что Шлиман с помощью писем, написанных им на языках получателей и не требующих поэтому перевода (куда могут вкратце вкрасться не только языковые ошибки, но, как их результат, и смысловые) успешно решал задачи своей торговой деятельности, опережая конкурентов.

Но наряду с профессиональной необходимостью изучение языков все больше становится для Шлимана духовной потребностью а значит, и самым любимым в жизни занятием.

В возрасте 23 лет его как перспективного коммерсанта направляет в Россию, в Петербург, крупная голландская компания в качестве своего торгового представителя, Здесь Шлиман обзаводится семьей, принимает российское подданство, становится купцом первой гильдии, членом Коммерческого суда, позже даже удостоивается высокого звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. При всем этом он остается и несомненным космополитом, «гражданином мира» — как благодаря своим повсюду используемым иностранным языкам, так и довольно частым деловым и просто познавательным поездкам по всему миру — по Европе, Америке, Ближнему Востоку, Китаю, где он жадно изучает местную культуру, нравы и языки.

Живя в России, он успешно развивает торговую деятельность, богатеет, становится миллионером, крепко памятуя, очевидно, о главной цели своей жизни — накопить достаточно денег для археологических раскопок в Греции. С каждым годом он все чаще задумывается о своей давней мечте, о своем, может быть, даже предназначении. Но жизнь и большая работа в России на долгие годы затягивают его в свой водоворот. И лишь через двадцать с лишним лет он покидает вторую родину, чтобы уже всецело отдаться своей первоначальной страсти — поискам античных сокровищ.

Впоследствии он достигает и этой цели: раскопки приносят великолепные результаты, открывают новую страницу в познании истории древнего мира, хотя и не вполне подтверждают его собственную концепцию, построенную на легендарной основе гомеровских поэм.

Так всей своей жизнью Шлиман явил миру весьма редкий образец удачного сочетания в одном лице преуспевающего предпринимателя и страстного ученого-исследователя, хотя и исключительно самоучки, явил образец обогащения не ради лишь собственного процветания, а ради высшей цели — духовной, познавательной. Жизнь его, как и жизнь Николая Морозова, — да простит мне читатель очередное (и еще не последнее!) возвращение к нашему первому герою, но уж очень объединяют этих двух личностей их бесконечная тяга к познанию, железная воля и несокрушимая вера в свои идеи — я бы кратко охарактеризовал крылатой фразой из лексикона боготворимой им античности: *"Per aspera ad astra!"* («Через тернии — к звездам!» — *Лат.*).

Перейдем теперь к рассмотрению шлимановского метода изучения иностранных языков. В его подходах к самому процессу обучения в глаза прежде всего бросается одна очень важная особенность: стремление всегда получить конкретный практический результат, причем сделать это в предельно короткий срок и любой ценой, то есть без оглядки на собственные, как говорится, энергозатраты. Учить язык обычным путем, как другие. Шлиман не мог себе позволить. Тратить на изучение одного языка несколько лет, да и с сомнительным результатом, — это было не для него. Ему требовался только исключительно быстрый и надежный способ. И вот таковой как бы неожиданно явился — на самом же деле Шлиман искал его долго, нащупывая разные пуги, экспериментируя. Наконец, особо не мудрствуя, он стал «просто» брать на память огромные объемы текстов, начав, разумеется, с малого.

Прочитав, скажем, одну-две страницы иноязычного текста, он тут же пытался их устно воспроизвести, исправляя по ходу' ошибки и затем вновь повторяя уже начисто. Либо делал так: прочитав отрывок, записывал по памяти то, что удавалось вспомнить. Вскоре ему уже с первого раза удавалось запечатлеть в памяти не менее половины текста, а после второго прочтения — почти весь текст. Свою работу над языком Шлиман постепенно разнообразил и усложнял. Если поначалу он пересказывал или записывал небольшие фрагменты текстов, то позже он мог, прочитав целиком всю книгу, написать по ней изложение, опять-таки с последующей проверкой либо им самим, либо учителем.

С учителями Шлиман имел возможность заниматься далеко не по каждому языку. Так, первый - после родного немецкого и близкого ему голландского - настоящий для себя иностранный язык, английский, он изучал следующим образом: купил у букиниста старый английский роман «Бекфильдский священник» Оливера Голдсмита и начал читать, как и Морозов, ничего не понимая. Но морозовского упорства и терпения ему, как видно, не хватило, правда, и задача у него была несколько иная: как можно скорее заговорить на английском. И он немного облегчил свою работу — нанял репетитора-англичанина (англичанина по национальности), который и стал помогать своему прилежному ученику переводить тексты и исправлять ошибки. Продвигаясь вперед быстрыми темпами, Генрих вскоре уже читал и заучивал страницы и целые главы из «Айвенго» Вальтера Скотта. Таким путем он настолько развил свою память, что месяца через три мог свободно воспроизводить наизусть до двадцати печатных страниц английской прозы, прочитав их предварительно три раза.

Но это не было легким занятием, тем более вначале. Первые свои языки — английский, французский, испанский, итальянский — Шлиман брал с боем, не жалея ни сил, ни времени. С английским ему еще повезло: помимо частных уроков он дважды по воскресеньям посещал в Амстердаме англиканскую церковь и делал это не потому, что был очень набожный. В церкви звучала правильная английская речь с чистейшим оксфордским произношением. Слушая проповеди, Шлиман про себя, а иногда и вполголоса старательно повторял каждое слово пастора, пытаясь копировать его интонации и манеру речи.

Он использовал и такую творческую форму изучения языка, как написание сочинений на свободную тему. Но это происходило лишь тогда, когда изложение по прочитанному тексту давалось ему уже почти легко, когда он чувствовал, что уже относительно неплохо ориентируется в изучаемом языке. На этом этапе он давал волю фантазии, пускаясь в свободный полет мыслей. Сочинения затем тоже корректировались и заучивались. Такие вольные сочинения оживляли изучение языка, приближали его к актуальной повседневности и, кроме того, выполняли чисто учебную задачу — они сразу выявляли недоработки и пробелы в лексике и грамматике. Еще более высоким уровнем совершенствования языков для Шлимана было писание писем на том или ином языке. Выше уже говорилось про обширную переписку Шлимана с его коммерческими партнерами, но помимо деловых он писал также много личных писем своим друзьям и родственникам в разных странах, не упуская возможности лишней раз поупражняться в том языке, носителю которого он отсылал письмо. Характерно, что Шлиман, уважая и язык, и человека, который будет читать его письмо, сам старался писать правильным языком и без грамматических ошибок. Более того, если он замечал ошибки в присылаемых ему письмах, он возмущался и отчитывал затем своих корреспондентов, допустивших ошибки в их же родном языке.

Полезным занятием было и ведение личных дневников на разных иностранных языках. Отличаясь аккуратностью и пунктуальностью, Шлиман все текущие дела и события своей жизни скрупулезно фиксировал в своих многочисленных дневниках (кстати, благодаря этому мы сейчас и имеем неплохое представление о всей жизни Шлимана). Интересно, что находясь — даже недолго, проездом, — в какой-либо стране, он делал записи в дневнике только на языке этой страны.

Из всего этого следует, что Шлиман не был приверженцем какого-то одного способа изучения языка или какой-то жесткой последовательности в этом процессе. Он мог приступить к новому языку с чтения, а мог сразу и с разговорной речи, как это произошло, например, в период его большого путешествия по Египту, Аравии и Ближнему Востоку. Там он начал изучать арабский язык, оживленно и непринужденно общаясь каждый день с местными жителями — арабами. Продолжил же заниматься арабским уже в Петербурге, основательно и по своей давно наработанной схеме. Конечно, надо учесть, что к тому времени Шлиман уже активно владел десятком языков, обладал отличной, очень цепкой памятью и поэтому схватывал всё на лету, впитывая информацию как хорошая губка. Но и даже при своих недюжинных способностях (напомню — способностях, собственными усилиями приобретенных, а не данных свыше), при своей идеально отточенной технологии изучения языков Шлиман, как мы видим, старался не упустить и самого небольшого шанса для дополнительного языкового тренинга. Он, образно выражаясь, подобно умному и рачительному)' хозяину не позволял пропасть ни одному всходу-колоску на ниве своих языковых владений.

Комплексное восприятие языков — через чтение, письмо и разговорную речь — облегчало Шлиману их усвоение. Это было главным отличием его метода от метода Морозова, который, как помнит читатель, делал ставку только на чтение, хотя ставка эта и оказывалась всегда также выигрышной.

Если в английском Шлиману помогали разобраться поочередно два репетитора, плюс прослушивание богослужений, плюс сыграло роль его общение с английскими купцами и матросами, то французский он учил в одиночку. Для этого он купил у букиниста пару сентиментальных романов («Похождения Телемака» Ф. Фенелона и «Поль и Виргиния» Бернарден де Сен-Пьера) и приступил к распутыванию клубка языковых закономерностей и противоречий изящной французской словесности. Итальянский, испанский, португальский и еще ряд языков Шлиман освоил также самостоятельно по книгам и учебникам. Зато в таких языках, как русский, датский, греческий, латынь, он опирался на помощь учителей.

Оригинально и чисто в своем стиле неиссякаемой находчивости Шлиман овладел русским языком. Началось все с того (вернемся вновь к голландскому периоду жизни молодого Шлимана), что голландской торговой компании, в которой Шлиман работал бухгалтером и товароведом, потребовался сотрудник, владеющий русским языком, поскольку эта компания продавала колониальные товары русским купцам. И тогда Шлиман, изучивший к тому времени семь языков, не долго думая, решил взяться и за русский. Но в Амстердаме на тот момент не нашлось

ни одного знатока этого загадочного языка, кроме, правда, вице-консула Российской империи, который, однако, счел ниже своего достоинства давать уроки неизвестному молодому человеку. Но Шлиман не отступил, на свой страх и риск он рьяно принялся осваивать этот язык, отличавшийся от уже известного ему и в грамматике, и в словообразовании, язык, слишком необычный даже для его уже довольно искусственного в лингвистике ума. Для начала, обойдя едва ли не все книжные магазины города, он раздобыл три ветхие русские книги: старую грамматику, неполный словарь и опять-таки «Похождения Телемака», которые Шлиман читал ранее на французском и некоторых других языках, что ему и облегчило теперь немного задачу. Запомнив русские буквы и их предположительное (!) звучание (вспомним опять Морозова, изучавшего английское произношение также «на глазок»), Шлиман стал заучивать отдельные слова и целые предложения из книги. Но труднопознаваемый, тяжеловесный текст «Телемака» в устаревшем русском переводе столетней давности заставлял перегреваться и пробуксовывать даже незаурядную память Шлимана. Однако на него подобные трудности действовали *like a red rag to a bull* (как красный цвет на быка). С еще большим рвением и еще более громким голосом он читал и повторял, заучивал и декламировал сам себе шершавые строки романа, из-за чего даже должен был дважды менять местожительство, т. к. соседи по дому не могли долго переносить столь неутомимого любителя «разговорного жанра», к тому же бормочущего что-то по ночам (уж не заклинания ли?) на каком-то странном, подозрительном языке. Но и это не обескуражило неутомимого полиглота, хотя Генрих все сильнее чувствовал себя не в своей тарелке: пересказывать самому себе тексты было скучно и не давало стимула. И он рассудил по-своему логично: если нет учителя, то почему бы не найти просто живого человека к качеству хоть пассивного слушателя? Главное — не говорить в пустоту. Так он и сделал. Один нищий старик согласился за четыре гульдена в неделю приходить каждый вечер к Шлиману и слушать его два часа кряду. Старик не понимал ни одного русского слова, но согласно кивал головой, как бы прислушиваясь к истории походов Телемака. Правда, часто и засыпал, наверное, не вынося с непривычки такого количества непонятной для себя информации. Но дело у Генриха теперь пошло веселее, с каждым днем он все лучше «включался» в русский язык, пусть и весьма старомодный. Впоследствии, когда Шлиман уже давно жил в России, в его прекрасной русской речи все же иногда проскальзывала забавная старообразность, встречались полузабытые слова и обороты, заученные им когда-то в Голландии, — как невольная дань той первой русской книге.

К главным же языкам своей жизни и своей мечты — греческому и древнегреческому — Шлиман приступил позже, будучи уже во всеоружии многих других познаний. Теперь, в свои тридцать пять лет, просвещенный и богатый купец, миллионер, он, живя в столице России, мог достать любую книгу или учебник, мог использовать любую возможность для всестороннего изучения языков. Но его хорошо отлаженная система остается прежней: для изучения современного греческого он нанимает на этот раз уже не молчаливого слушателя, а самого носителя языка — грека-семинариста, изучающего в Петербурге теологию. При этом Шлиман отнюдь не превращается в пассивного ученика, робко внимающего учителю. Оставаясь верным своей излюбленной наступательно-пробивной тактике, он читает и учит самостоятельно, довольствуясь лишь корректировкой произношения и исправлением ошибок учителем-греком, которому он, собственно, и оставляет функции не столько учителя в полном смысле, сколько контролера-наставника и партнера. Так всего за несколько недель Шлиман освоил современный греческий язык и тут же взялся за самый свой желанный — Древнегреческий. На этот «мертвый» язык у него — уже без всякой посторонней помощи — ушло около трех месяцев... и еще два года. Дело в том, что в первые месяцы он интенсивно учил сам язык, но затем в течение еще двух лет много читал, наслаждаясь в подлинниках шедеврами Гомера, Эсхила, Софокла. Вскоре он легко освоил и латынь, как бы по кругу вернувшись к полузабытому языку, который безуспешно зубрил еще в гимназии много лет тому назад. Говоря об изучении Шлиманом языков, я до сих пор не упомянул о его отношении к грамматике, словно бы проблемы понимания и усвоения грамматических тонкостей для него не существовало. И в общем-то надо признать, почти так оно и было на самом деле. Характерно при этом то, чтошлимановский подход к грамматике практически не отличался от морозовского. Напрашивается мысль: не означает ли такое совпадение обоих подходов объективной истинности подобного отношения к грамматике? Шлиман, как и Морозов, тоже полагал, что тратить время на специальное изучение теории грамматики неразумно. Он никогда не испытывал любви к склонениям, спряжениям и прочим сухим премудростям. Даже упражнения в переводе, которыми насыщены любой учебник и которые имеют целью усвоение грамматических правил, он считал совершенно излишними. Так, начиная учить тот же древнегреческий, Шлиман вооружился лишь минимальным грамматическим арсеналом, как бы следуя известному принципу математики о необходимом и достаточном, — заучил только склонения и правильные и неправильные глаголы. Все остальные грамматические законы он извлек и вывел естественным путем из книг, из текстов, то есть из свободной стихии самого языка.

Читатель уже, вероятно, заметил, что и Морозов, и Шлиман в методах и целях изучения языков наряду с явными различиями имели и много общего. Не считая уже упомянутого их соли благодарного отношения к грамматике, эта общность состояла в следующем: они оба изучали языки не по причине особой любви к самим языкам (исключение, пожалуй, составляет лишь древнегреческий для Шлимана), а ради решения практических жизненных задач. Хотя, втянувшись в процесс изучения языков, оба потом отмечали, что и сам по себе этот процесс стал для них увлекательным и даже почти физически необходимым; они не желали растягивать изучение языков надолго, а по тому эксплуатировали свои интеллектуальные способности в высшей степени интенсивно; они не придавали значения самым неблагоприятным условиям в которых приходилось учить языки. Если для Морозова учебным классом стала тюремная камера, то и Шлиман мог «поглощать» языки в любой ситуации: дома, на улице, на службе, на корабле, в седле и т. д. Например, испанский язык он продолжал самозабвенно учить в каюте почти уже тонущего в штормовом море корабля (который вскоре и действительно затонул — Шлиман спасся лишь чудом); они доводили начатое дело до полного завершения — до практического овладения изучаемым языком, являя тем самым одно из наиболее ценных качеств человеческой природы — неотступную целеустремленность; они сразу на деле применяли полученные знания: Морозов много читал научной литературы, Шлиман — и читал, и активно устно и письменно общался с коллегами и

друзьями; — наконец, они в дальнейшем использовали знание иностранных языков не только в научных или деловых интересах, но и для своих духовных потребностей, находя в чтении иностранной беллетристики в оригинале ни с чем не сравнимое интеллектуальное наслаждение.

Не исключено, что кто-либо из читателей может усомниться в высокой эффективности и, главное, в универсальности шлямановского и морозовского стилей самообучения языкам, заметив, что, дескать, и самое лучшее лекарство действует не на всех одинаково благоприятно, да и были-то наши герои, наверное, какими-то исключительными личностями, и их «языковые подвиги» мало кто может повторить. На эти не лишённые резона сомнения я ответил бы так: разумеется, при использовании методов Морозова или Шлимана. (даже для изучения лишь одного или двух языков) может иметь место некоторый разброс в степени их эффективности у различных людей в зависимости от изначальных способностей, усердия, возраста и других индивидуальных качеств. Но все же общая тенденция будет одинакова для всех: значительное повышение качества и скорости овладения языком по сравнению с традиционным вялотекущим процессом обучения.

Кстати, сами же Морозов и Шлиман дают нам убедительные подтверждения этого на примере своих учеников. Вот отрывок из воспоминаний Н. Морозова (письмо из тюрьмы), где он рассказывает о его занятиях языками по своей системе с одним из таких же заключенных, как и он сам.

*«Всю прошлую зиму кроме обычной работы над своими научными сочинениями я давал еще уроки немецкого, а потом и английского языка одному товарищу, с которым мне разрешили видаться, и очень доволен достигнутыми результатами и своей системой преподавания. Сначала человек так плохо знал по-немецки, что не отличал твердых гласных от мягких, а теперь, после нескольких месяцев занятий, стал читать совершенно свободно и правильно... И вот он читал, а я ходил по комнате, слушая его и, где нужно, исправляя произношение и подсказывая значения более редких слов. И мне и ему было очень интересно узнать продолжение романа, а потому и занятия шли с необыкновенным успехом».*

В данном отрывке речь идет о нескольких месяцах занятий, что как бы не соответствует суперскоростным темпам метода Морозова, но надо учесть, что со своим учеником Морозов занимался не столь много и интенсивно, как он делал это сам, и потому данный эпизод подтверждает не столько скорость, сколько качество морозовского метода — что тоже немаловажно.

Пример обучения Шлиманом своего ученика в чем-то еще более убедителен. Учеником этим стала его вторая жена, гречанка Софья Кастромнос. Дело в том, что, переехав из России в Грецию, Шлиман женился на молодой, но не очень образованной девушке из крестьянской семьи. И он решил сделать свою новую жену достойной себя, то есть культурной и образованной женщиной. Начали с иностранных языков. Метод обучения остался неизменным, чисто шлямановским: Софья засела за французские, а затем за немецкие книги — не учебники, а именно книги, и при этом не просто читая, но активно и творчески работая с текстом. И результат, как и следовало ожидать, оказался превосходным: за несколько месяцев Софья овладела обоими языками, причем достигла этого в основном самостоятельно, почти без помощи мужа, который часто находился в отъезде и только время от времени мог направлять ее обучение в нужное русло.

Пришел черед рассказать и об одном из современных «учеников» Шлимана, точнее, приверженце его методики и ее благодарном пользователе, коим не так давно и по собственному почину стал автор этих строк.

Памятуя о своей первоначальной, не очень удачной лобовой попытке использования морозовского метода, я решил к методу Шлимана сразу подойти более гибко и избирательно. Не применяя его в полном объеме, а пытаясь приспособить к своим скромным возможностям, я стал использовать наиболее подходящие и реально доступные для меня элементы метода, кое в чем их еще и видоизменяя. Опасался при этом и уклониться слишком в сторону от шлямановского форватера, понимая, что любой хороший метод можно даже при самых благих намерениях исказить до неузнаваемости, выплеснув, как говорится, с водой и ребенка. Но, как показали мои дальнейшие взаимоотношения с иностранными языками, мне все же и здесь удалось найти более или менее оптимальный маршрут между точкой «надо» и точкой «могу».

Прежде всего я попытался скорректировать под свои возможности главный стержень шлямановского метода: чтение—пересказ—проверка—запись—заучивание. На этой основе после ряда комбинаций я и выстроил свою цепочку, свой алгоритм работы с языком. Конкретно я стал делать следующим образом. Внимательно прочитав два-три раза предварительно переведенный текст, я тут же пробовал его пересказать, необязательно дословно, даже лучше, если своими словами. Но «своих»-то английских слов сперва просто не было или, во всяком случае, очень не хватало, чтобы позволить себе хоть какую-то степень свободы в рамках данного текста. Поэтому сначала приходилось лишь заучивать, что тоже было полезно. Так продолжалось около двух месяцев. Одновременно я много читал (и «по-морозовски» в том числе), в ударном порядке запоминал слова, вникал в грамматику. Постепенно, по мере накопления в памяти запаса слов (где-то порядка тысячи — первой, самой драгоценной тысячи), я мог перейти от жесткого заучивания текстов к более свободной и, надо сказать, более увлекательной форме: внутри абзаца мог позволить себе некоторое отступление от книжного языка, заменив его маленькой собственной импровизацией. И хотя эта импровизация была чаще всего примитивной и ошибки громоздились одна на другую — я это чувствовал, — а проверить и исправить их было некому, я все-таки стал замечать ежедневный, пускай небольшой, но нарастающий прогресс: язык за зубами становился более раскованным и подвижным. И вот тут-то я начал отчетливо осознавать, насколько великую роль при изучении иностранного языка играет желание и стремление по возможности свободно и нестандартно выражать свои мысли, даже если поначалу это получается более чем коряво и не без внутренней борьбы или так называемых «душевных» мук. Если я, например, прочитал текст и более-менее сносно пересказываю его дословно — это хорошо. Но если я пытаюсь еще как-то и «поиграть» с этим текстом, немного отступить от авторских слов,

заменяв их другими, может быть, и не вполне соответствующими, но как бы своими, — то есть, если я пытаюсь, как говорят музыканты, играть не точно по нотам, а где-то «около нот», но при этом и не уходя далеко от темы-мелодии, вот тут-то и начинается настоящая «раскрутка» иностранного языка в моем сознании и вживание в него. Ведь в этом случае я ощущаю себя по отношению к языку данного текста (если не вообще к языку) уже немного как хозяин, как режиссер своего спектакля, а не как начинающий актер, зазубривший назначенный ему по роли текст.

Такие свободные изложения я проводил только в устном виде, чтобы многочисленные ошибки не фиксировать на бумаге и тем самым не задерживать лишний раз в памяти. После свободного (импровизационного) изложения я прочитывал (просматривал) текст в целях его уточнения и затем пересказывал его почти дословно. Наконец, вновь сверившись с текстом, я аккуратно его записывал и уже начисто заучивал. Записывал я текст в специальную тетрадь — «тетрадь моей памяти», как я ее называл, — в которой постепенно, день ото дня накапливалось множество текстов, стихов, анекдотов. Это была моя драгоценная и любимая сокровищница, сохраняющая в себе те иноязычные тексты, с которыми я активно работал, пропуская их через жернова восприятия и откладывающая в долговременной памяти. И это не был мертвый груз, бесполезно осевший на дно памяти и сгинувший там, — отнюдь! Далее в соответствующем месте я расскажу, когда и каким образом я оживлял и использовал эту полезнейшую для себя информацию. Теперь же для четкости запишем всю последовательность операций работы с текстом кратко:

- 1) чтение (перевод) текста;
- 2) свободный (импровизационный) пересказ;
- 3) проверочное (уточняющее) чтение;
- 4) дословный (или близкий к тексту) пересказ;
- 5) сверка по тексту;
- 6) запись;
- 7) заучивание.

Такой алгоритм работы с текстом может показаться на первый взгляд немного затянутым, но — поручкой тому мой собственный успешный опыт, не говоря уже про Шлимана и его последователей — именно он и является тем самым ключом, который-таки срабатывает и хотя со скрипом, но зато уверенно и без промедления открывает перед нами вход в соблазнительно-великолепные апартаменты практического иностранного языка. Да, именно практического, хотя обычно и считается, что практически овладеть языком — живым, разговорным языком — можно только при наличии большой и активной разговорной практики. Но данный способ при его систематическом использовании позволяет «обкатывать» язык и даже развивать у себя разговорные навыки не хуже, чем в случае непосредственного общения с носителем языка или преподавателем. А возможно, и лучше, так как, во-первых, он понуждает наш мозг к очень напряженной и, значит, продуктивной работе, или, как метко говорят по такому поводу англичане, *to cudgel one's brains over something* — вставляет «бить свои мозги палкой», и, во-вторых, он является абсолютно доступным, не требующим ни напарника или репетитора, ни аудиовизуальной техники, и, следовательно, мы можем обращаться к нему в любой мало-мальски удобный для нас момент. Единственное, что потребуется, — приложить некоторые, впрочем, для кого-то, может быть, и немалые, волевые усилия. Но это уже проблема из другой области нашей жизни.

Подытоживая рассказ о системе Генриха Шлимана, хочу также отметить кроме ее неприветливости еще одно, для нас, быть может, самое привлекательное ее качество — свободу. Она позволяет в своих границах применять те или иные приемы, как-то изменять их, а также отказываться от некоторых вовсе, делая упор на других, которые нам больше по душе или по силам. Для меня же именно кропотливая работа с текстом чрезвычайно завлекательная, я бы даже сказал, очаровывающая и своей поначалу упругой неподатливостью, и в то же время радостным ощущением ежеминутно, ежечасно, ежедневно совершаемых маленьких, но важных языковых побед, стала в свое время основной и решающей в процессе обучения по Шлиману. Сочинения я писал также довольно охотно, хотя не очень часто и немного в иных формах (об этом в следующей главе). От некоторых же другихшлимановских приемов пришлось отказаться: писем и дневников па иностранных языках я почти не писал по разным причинам, но все же, как и Шлиман, старался подходить к изучению языков комплексно, насыщая информацией свои глаза и уши самыми разнообразными способами. Некоторые из них были для меня временными, промежуточными, что не умаляло их значения, другие сопровождали меня неизменно, вошли в мой золотой дидактический фонд.

Наконец, великому Шлиману я обязан не только приобщением к его технике обучения, не только конкретными ориентирами для подражания и дальнейших самостоятельных поисков, но и большим духовным влиянием на себя. Собственным впечатляющим и убедительным примером он оказал на меня мощное эмоционально-психологическое воздействие, заставил вслед за Морозовым поверить в реальность интенсивного самостоятельного изучения иностранного языка, а если потребуется, то и нескольких языков. Ведь, как говорится, *"Facts are stubborn"* («Факты — упрямая вещь»).

### Глава 3.

#### И я начал действовать.

*It is not gods that fire pots.  
Не боги горшки обжигают*



## Как я искал подходы к иностранному языку

Рассказав об эффективных, но не самых простых методах изучения языков, я хочу теперь перейти к методам и приемам хотя и не столь интенсивным, скорее, плавным и относительно «спокойным», но тем не менее также достаточно действенным, а кое в чем и оригинальным.

Итак, если время терпит — в запасе есть год-другой на приобщение к языку без особого напряжения — и если мы люди степенные (даже в свои 15 или 20 лет), не расположенные к спешке и суете, наконец, если мы вообще не прочь посмаковать творческий процесс вхождения в новый для нас язык, а значит, и в новую культуру, — то почему бы не взять отчасти на вооружение тактику обучения, соответствующую мудрому народному девизу: *“The more haste, the less speed”* («Тише едешь, дальше будешь»)? Я говорю «отчасти», потому что совсем «тихо ехать» при изучении иностранного языка не имеет смысла. Однако и нестись сломя голову, за редкими исключениями, тоже вовсе не обязательно. Изучение языков — это, на мой взгляд, как раз то счастливое занятие, которому можно предаваться не торопясь и всей душой, так же как, например, музыке или любым другим изящным искусствам. Но чтобы избежать возможных разочарований, надо четко усвоить, что иностранный язык — это для нас одновременно и наука, и искусство, и немного даже... спорт. И потому в нем, как во всех этих сферах жизни, нельзя добиться полного совершенства. Да и надо ли? Для кого-то будет достаточно и умеренного, среднего, владения языком — известно, что для нормального, то есть вполне сносного, понимания художественного произведения на иностранном языке необходимо знать лишь от 1500 до 3-4 тысяч слов этого языка плюс грамматику. Но это — минимум, и он вовсе не является пределом и помехой нашему стремлению к дальнейшему обучению. Более того, для увлеченного человека это лишь база, трамплин для последующего и практически беспредельного совершенствования. Ведь иностранный язык нельзя выучить полностью и окончательно, впрочем, как и свой родной. «Окончательно» можно лишь, к примеру, сварить кашу, срубить дерево или выйти на пенсию. В сфере же духовной, и особенно образовательной, ничего нельзя раз и навсегда завершить без шанса к улучшению или хотя бы к изменению. Мир идей, мир духа неисчерпаем, и даже фундаментальные законы физики, говорят, со временем могут быть если не пересмотрены, то дополнены.

Кто-то из французских писателей, кажется Андрэ Моруа, заметил, что каждую свою по-настоящему любимую книгу мы должны на протяжении жизни прочитать не менее 100 раз! А что же тогда говорить о таком громадном «куске информации», как иностранный язык? Можно ли им насытиться до предела? Любой язык — это бездонный кладезь знаний, которые мы можем черпать бесконечно, получая пищу для ума и души. И при этом степень владения тем или иным языком, как и количество их в нашей голове, особой роля не играет: можно изучать один или несколько языков, изучать медленно или побыстрее, глубоко или не очень, но в силу своей потребности и заинтересованности получать от процесса изучения ровно столько пользы и удовольствия, сколько хочется.

Я в шутку разбиваю изучение иностранного языка на три стадии:

- 1) непродолжительное «мучение» (начальное знакомство с языком);
- 2) продолжительное и все более радостное приобщение (собственно изучение языка);
- 3) бесконечное наслаждение (совершенствование и использование приобретенных знаний).

Разумеется, первый этап особо мучителен только для тех, кто очень предвзято относится к языкам. Но его можно проскочить довольно быстро, что, наверно, сравнимо с погружением в прохладную воду, которую вскоре перестаешь замечать. Дальше следует более длительный, но и увлекательный второй этап, который в себе уже содержит отдельные элементы и зародыши третьего. И вот постепенно и как-то незаметно вступаем в вожделенный этап лингвистического наслаждения, когда иностранный язык превращается едва ли не во второй родной или во всяком случае делается гораздо доступнее и приятнее в использовании: мы почти без усилий читаем любую иностранную книгу, газету, слушаем иноязычные радиостанции и можем — надо же! — обойтись без переводчика, наслаждаясь красотами где-нибудь на Темзе, Сене или Рейне. Но теперь назад, к началу всей этой цепочки, которая, если говорить всерьез, не так уж прямолинейна и проста.

К какому языку лучше приступить сначала — к книжному (письменному) или к разговорному (устному)? Ответ здесь, по-моему, очевиден: если мы решили учить язык без особого интенсификации и не впопыхах, то лучше начинать с чтения. Ведь чтение — это та же речевая деятельность, которой мы спокойно можем заниматься и в отрыве от языковой среды, при этом еще и обеспечивая себе возможность в любую минуту перейти к устному общению. И если мы уже можем читать на иностранном языке достаточно неплохо и делаем это систематически, то нам потребуется совсем немного времени, порядка нескольких дней, чтобы, оказавшись в соответствующей иноязычной среде, неплохо и «разговориться» на этом языке.

Некоторые лингвисты считают, что учиться сразу говорить на иностранном языке и проще, и полезнее, чем учиться читать. Они, конечно, правы... впрочем, до той лишь границы, которая разделяет приобщение к речи несложной, околоучебного характера, от владения настоящей беглой повседневной и деловой насыщенной образами, сравнениями, сокращениями и прочими, что называется, «кренделями» и «коленцами», то есть типичными разговорными формами и жаргонизмами. Но самая главная трудность для начинающего — это скорость живой речи и невозможность «прокрутить» ее назад, как магнитофонную запись. При этом-то и возникает ощущение настоящего тупика и непреодолимого языкового барьера.

Иное дело «Ее Светлость» и «Ее Сиятельство» книга, а также газета, журнал и любой прочий печатный текст. При чтении всегда можно вернуться назад, хоть трижды перечитывая непонятное место и размышляя над ним. Можно самому выбирать и регулировать скорость чтения. Но, пожалуй, одно из самых приятных и полезных качеств, которое обеспечивает нам книга, — это возможность читать именно то, что нам хочется, что представляет для нас интерес сегодня и сейчас. Увлекательные сюжеты становятся теми надежными приводными ремнями, которые и раскручивают маховик нашего интереса, приводя в действие машину интеллекта. Причем имеет место четкая прямая зависимость: чем больше интереса мы испытываем к данной книге, тем меньше усилий приходится затрачивать на преодоление трудностей при ее чтении.

Диапазон же наших интересов безграничен: для кого-то это детективы, для других — исторические романы, для третьих — любовно-сентиментальные, для четвертых — фантастические и так далее. А почему это не может быть книга или статья на иностранном языке о, скажем, выращивании наших любимых цветов где-нибудь в Австралии или о жизни боготворимых нами кошечек где-нибудь в Бразилии? А может, это будет позарез необходимая нам спортивная информация о каких-нибудь супер-турнирах или супергонках, а может, — почему бы и нет — нас интересует все, что связано с творчеством Питера Брейгеля-младшего да заодно и старшего, а значит, не прочесть об этом на родном языке мы, разумеется, просто не можем. Вообще разницу между изучением какого-либо вопроса (особенно творческого) по оригинальной литературе и по переводной я бы сравнил с разницей, например, между прослушиванием «живой» музыки в концертном зале и записью той же музыки на кассете или даже каком-то новейшем диске — вроде и запись хорошая, и музыка та же, и все же, как говорится, то, да не то — ощущения-то разные.

Да, пути и причины, подводящие нас к изучению иностранных языков, могут быть самыми разными и прихотливыми. Один мой товарищ, например, взялся изучать немецкий язык (и довольно быстро преуспел в этом) потому, что, будучи сам музыкантом и большим почитателем творчества великого австрийского композитора Франца Шуберта, очень захотел, играя на рояле, одновременно и напевать его романсы в естественном и первоизданном виде, то есть по-немецки. Затем он перешел к романсам и песням других немецкоязычных композиторов, затем к стихам немецких поэтов, а затем и к прозе. Так, удовлетворяя поначалу лишь свои художественно-музыкальные потребности, товарищ мой как бы непринужденно и исподволь приобщился и к языку своих кумиров.

На себя же сослаться в этом смысле не могу, поскольку я приступил к изучению и английского, и немецкого главным образом в целях принципиально-познавательных (и даже под влиянием некоторого спортивного азарта: смогу или не смогу, поскольку способностей к языкам никогда за собой не ощущал), нежели в целях удовлетворения какого-то своего прикладного интереса. Но при этом мной ведь тоже двигал конкретный, хотя и своеобразный, интерес — интерес к самому процессу изучения, а это, надо сказать, изрядно захватывающий и во многом просто интригующий интерес.

Итак, определив для себя тот круг интересов, ради которого не жаль будет потратить времени и усилий, чтобы покорпеть над текстом и порыться в грамматике, можно отправляться в библиотеку или книжный магазин за книгами на избранном языке.

При этом не стоит себя ограничивать, не стоит умерять свои литературные аппетиты, подыскивая книги попроще и потоньше. При всей нынешней бурной компьютеризации старая добрая книга и сегодня остается лучшим орудием и средством для снижения нашей цели. Она, эта верная наша спутница, всегда докучливая и молчаливая, но и всегда готовая открыть нам любые секреты, безропотно взирающая на наше подчас не очень деликатное с ней обращение, она именно в нашем случае — при самостоятельном изучении иностранного языка — работает «на все сто», выполняя при этом еще и двойную роль: она и обучает и развлекает.

Но есть у книги и еще одна полезная функция, как бы не прямая, а косвенная, не всем известная и, наверно, совсем мало кем используемая, к сожалению. Впрочем, функция эта зависит не столько от собственно книги, сколько от особенностей нашей психологии и применения определенного приема, заключающегося в своеобразной форме контакта с книгой или учебником. Чтобы было ясно, о чем речь, я хочу рассказать теперь еще об одном своем товарище, который, желая изучить иностранный язык, поступил в чем-то даже более оригинально, чем первый.

Этот мой товарищ, в отличие от первого, — профессиональный филолог, специалист по арабским языкам. Неплохо владеет английским, французским, немецким. Но вот захотелось ему как-то раз взять да и изучить еще японский язык. Не долго размышляя, достал самоучитель и рьяно приступил к намеченному. Но вот досада; что-то почему-то, вероятно, не сработало и не пошло. И в результате он через некоторое время японский так же внезапно и оставил.

Прошел год или чуть больше, и я вдруг стал замечать, что в руках у моего товарища вновь периодически начал появляться тот самый самоучитель японского языка. Но появляться начал как-то странно: не столько в руках, как где-то рядом — в сумке, в кармане, на столе и т. д., но всегда в пределах видимости и легкой досягаемости. Однако непривычно было то, что ни разу я не видел его за чтением этого самоучителя. А товарищ мой, надо сказать, был большой книголюб и просто так, для балласта, носить с собой нечитанные книги никогда обыкновенно не имел. Поначалу я почти не обращал внимания на эту маленькую странность моего друга, лишь фиксируя ее краем глаза. Если же и задавал ему по этому поводу ненавязчивый вопрос, то получал уклончивый или шуточный ответ. Но, как известно, раньше или позже любая загадка получает свое объяснение. Так и случилось. Однажды зашли мы с ним в кафе и, расположившись за столиком, приступили, как обычно, к обсуждению каких-то насущных дел. И вот он, как всегда, — а для него это стало уже, наверно, привычкой — извлек из сумки все тот же самоучитель японского и скромно положил его на край стола, невозмутимо продолжая разговор. Как я и ожидал, тоже привыкший уже к таким его манипуляциям, на протяжении нашего дальнейшего разговора и всего обеда товарищ мой ни разу так и не открыл эту книгу и, собираясь уходить, аккуратно убрал ее обратно в сумку. Но на этот раз я не выдержал и решительно попросил его объяснить мне наконец доходчиво и откровенно таинственный смысл этих странных маневров с книгой. Я был тогда уже готов получить самый необычный, даже мистический, ответ, но услышал, наоборот, хотя и неожиданное, но все же вполне доступное моему пониманию рационально-житейское объяснение. А дело было в том, поведал он мне, что поначалу изучение японского языка действительно не вызвало у него большой радости и вдохновения и вскоре, что называется, зачахло, но не на корню. Желание изучить язык не угасло. И какое-то время спустя, психологически «отдохнув» от этой первой в своей жизни лингвистической осечки, он решил дальше действовать более утонченно-терпеливым образом, применяя к японскому языку — и здесь, наверно, уместно будет такое сравнение — выжидательно-наблюдательную тактику японских ниндзя (кстати,

«ниндзя» в переводе означает «терпеливый»), Б чем же состояла суть этой очень простой, но по-своему оригинальной тактики? Приведу аргументацию моего друга по этому поводу, хотя и в моей собственной — немного свободной — аранжировке.

Есть известная поговорка: «С глаз долой — из сердца вон». То, что она отражает универсальную и всем хорошо знакомую истину, доказывает наличие подобной мысли и в других языках, например в английском: *"What the eye does not see the heart does not grieve over"* или: *"Out of sight, out of mind"*. Но ведь эту мысль можно развернуть и в обратном направлении, и тогда смысл ее станет хотя и противоположным, но столь же справедливым. Вот, к примеру, три моих варианта (наверно, можно придумать и больше): «На глаза попался — в сердце (в память) ворвался»; «На глазах остался — в сердце (в памяти) задержался»; «На что глаз положил — то в душе и сохранил». И вот в таком виде данную мысль можно, по-моему, применять — особенно в процессе обучения — повсеместно и в любой ситуации, превратив ее в полезный вспомогательный методический прием. Здесь я лишний раз хочу обратить внимание читателя на желательность учитывать в жизни и использовать себе на благо некоторые не сложные, но не всегда осознаваемые особенности нашей психологии. Мой же товарищ сумел как раз так и сделать. Он рассудил примерно следующим образом: «Я пока не испытываю особой любви к японскому языку, у меня есть лишь, как когда-то говорили, «умственное» желание им овладеть, что тоже неплохо для начала. И если у меня не возникло любви к языку «с первого взгляда», с первой моей попытки приступить к нему, то попробую-ка я теперь действовать не стремительным наскоком, а размеренно, не торопясь и даже как бы е обход. Ведь кроме «первого взгляда» есть и другой способ достичь любви, хотя и не столь романтичный, но зато надежный, проверенный жизнью и отраженный в мудрой народной поговорке: «Стерпится— слюбится». Ага, значит, сперва надо потерпеть, рассуждал дальше мой товарищ, а лучший способ терпеть — это, наверное, не замечать, игнорировать, не зря же есть такое слово — «притерпеться», то есть свыкнуться, перестать обращать внимание. И тогда, возможно, чем черт не шутит, объект моей нынешней «нелюбви» постепенно превратится в свою противоположность. Но для того чтобы что-то не замечать, так сказать, «демонстративно игнорировать», это «что-то» надо постоянно иметь при себе и перед собой».

Проделав такую цепочку умозаключений, товарищ мой и подошел к единственно вытекающему из них способу действий: он вновь достал свой самоучитель японского и начал его активно «игнорировать», старательно таская повсюду с собой, но при этом почти до него не дотрагиваясь. Иногда, правда, открывал, приглядываясь к фигуркам иероглифов то ли с удивлением, то ли с грустью, а может быть, и со страхом, — скорее всего, чтобы проверить, не вываливаются ли еще оттуда страницы. Однако же при всей странности таких платонических отношений, точнее, неотншений с японским языком в стиле как бы взаимного поддразнивания, продолжавшихся несколько месяцев кряду, мой товарищ достиг своей цели — по крайней мере, промежуточной цели: он привык к постоянному присутствию в поле зрения учебника японского как к неизбежному, но уже почти необходимому спутнику. А ведь *"Habit is a second nature"* («Привычка — это вторая натура»), привычка во многом влияет на нашу жизнь и управляет ею. Иными словами, мой товарищ достиг главного: учебник японского языка (а значит, во многом и сам язык) переместился в его сознании с позиции внутреннего отторжения — че.рез безразличие — на этап почти естественной потребности, может быть, даже став в некоторой степени его *alter ego* («вторым "Я"» — лат.}. А это был уже этап если еще не самой любви, то уж точно ее предвкушения, этап желанной встречи с желанным языком. И вот такая-то 180-градусная переориентация сознания была достигнута путем применения всего-навсего простенького и чисто технического приема: в результате постоянного общения с учебником, а это было все-таки общение, пускай и на самом низком, осязательно-наблюдательном уровне (взял—положил—открыл—взглянул—закрыл—убрал), где-то, может быть, на уровне рефлекса — возникло устойчивое чувство причастности и даже тяги к японскому языку. Теперь можно было переходить к его изучению, что и было вскоре сделано моим товарищем — и уже без осечек.

Впоследствии японский стал для него одним из самых любимых языков, который принес с собой как эстетическое наслаждение от причудливого мира иероглифов, так и радость открытия для себя перлов прихотливой восточной культуры.

Да, я не упомянул еще одну деталь — наверное, потому, что посчитал ее и так подразумеваемой. Она такова; в период своего Довольно длительного и плотного «срачивания» с самоучителем японского языка товарищ мой решил, не упуская времени, заодно приобщиться к японской культуре — через литературу. Он стал почитать в русском переводе произведения известнейших японских писателей: Кобо Абэ, Сунари Кавабаты, Кэнд-забуро Оэ, Сетаро Ясуоки — и через них вникать в тонкости японской психологии, национального характера, искусства интуиции, намеков и недомолвок в общении, японской деликатности и утонченного восприятия человека и природы. И это также способствовало усилению его интереса к японцам, а значит, и к их языку. А поскольку в тех русских переводах встречались некоторые типичные японские слова и понятия, то мой товарищ за эти несколько месяцев накопил некоторый стартовый запас японских слов и мог уже, например, отличить «харакири» (способ самоубийства) от «хикари» (стрела, луч света), «вагаси» (кондитерские изделия) от «варибаси» (палочки для еды), а «икебану» (искусство составления композиции из цветов) от «экибэна» (дорожный завтрак в стерильной упаковке, продаваемый на всех вокзалах Японии). Вот так комплексно он и решил проблему подходов к самому восточному языку на свете.

Эту небольшую историю я рассказал лишь для того, чтобы на реальном примере (хотя, конечно, и не типичном) показать важнейшее условие любого обучения — и языкового в том числе, — к которому мы не очень расположены. Этим условием является не что иное, как необходимость изменить свое отношение к якобы трудному и потому недолюбляемому предмету обучения на глубинном, может быть, даже подсознательном уровне. А это достигается не путем гипноза (хотя не стоит и его полностью отвергать) или какого-либо другого постороннего воздействия, а путем давно известным и самым эффективным: надо неприятный для нас объект сделать для начала нейтральным, безразличным; безразличный постепенно перс-вести в разряд

привычного, а привычное и само незаметно станет приятным и, следовательно, наиболее для нас значимым, полезным и — легким. Ведь известно: *"What we do willingly is easy"* («То, что мы делаем охотно, кажется легким»). Процесс этот, конечно, не очень быстрый, но зато очень надежный — не подведет.

### **Как я научился... не замечать своих ошибок, но также и тщательно их отслеживать.**

Теперь о самом, пожалуй, болезненном при изучении языка — об ошибках. Обычно считается, что ошибок лучше не делать. Но вот беда, изучение иностранного языка, особенно на начальном этапе, — это, надо признать, довольно путанный и туманный процесс, который не позволяет нам при всем желании не только исправлять, но часто далее замечать наши многочисленные ошибки. Отдавая себе в этом отчет, мы уже заранее испытываем робость перед неотвратимостью ошибок. Это неуютное чувство психологического дискомфорта порождает своего рода комплекс неполноценности, что еще больше усиливает нашу беспомощность перед стихией чужого языка. Однако если мы все это хорошо осознаем и прочувствуем и твердо решим раз и навсегда покончить с не делающим нам чести ощущением тревоги и неуверенности перед возможностью совершать ошибки, даже целые каскады ошибок, то вот тогда, поразмыслив над такой своей вполне естественной «детской болезнью», мы обязательно найдем и лекарство против нее. Тем более что лекарство это внутри нас. Мы должны дать себе «железную» установку, должны внушить себе, что бояться собственных ошибок, к тому же будущих, которых мы, может быть, еще и не сделаем, нелепо и малодушно, что это тупиковый путь. После чего надо *шаг* за шагом учиться подавлять в себе это коварное ощущение якобы постоянно совершаемой фальши, так как оно сковывает, замораживает нашу инициативу. Да, лучше ошибок не делать и тем более не повторять. Но при активном, напористом процессе самообучения избежать их практически невозможно. Поэтому самая разумная тактика по отношению к ошибкам должна, по-моему, состоять в том, чтобы примириться с ними и взирать на них философски — как на неизбежное и даже необходимое зло. Да и зло ли? Ведь мы на них учимся, они — как маленькие векторы, направляющие нас по правильному пути, как говорится, от противного. Их главная функция — не помешать нам, а помочь осознать и запомнить соответствующее правило, чтобы дальше уже следовать ему безошибочно. Ведь давно замечено, что *"Error is discipline through which we advance"* («Ошибки — это наука, помогающая нам двигаться вперед»). Потребуется некоторое время, чтобы глубоко проникнуться пониманием этой истины (мне, во всяком случае, удалось это далеко не сразу), перестать, ежеминутно спотыкаясь, нервно оглядываться на свои ошибки и начать упрямо и хладнокровно смотреть только в одном направлении — вперед.

«Но как же так, — возможно, скажет читатель, — ведь не замечать свои ошибки или делать вид, что не замечаешь, то есть как бы закрывать на них глаза, — это же не лучший, можно даже сказать, довольно странный способ изучения иностранного языка?» И здесь читатель будет опять-таки в чем-то прав, но все же, скорее, формально. А реально... Реальность подчас оказывается не столь однозначна и логична, как кажется. При изучении иностранного языка часто приходится ради пользы дела выбирать не лучший подход из двух хороших, а лучший из двух не очень хороших или, как говорят, выбирать «меньшее зло». Но в данном случае это «меньшее зло», если заставить его целенаправленно работать на нас, к счастью нашему, скоро начнет приносить свои спелые плоды. Произойдет маленькое чудо: нам станет легче выражать свои мысли на изучаемом языке. Потому что мы уже не будем отягощены боязнью совершить ошибку, избавимся от языковой застенчивости, выйдем из крепостной зависимости сомнений и опасений и смело пойдем по головам своих ошибок — как по колышкам через болото — и только так выйдем на твердую почву настоящих знаний. А в ином случае... Представим себе человека, переплывающего реку. Если он начинающий пловец и к тому же еще на ходу будет постоянно думать, правильно ли работают его руки и ноги, не совершает ли он ошибок в технике плавания, то такой излишний самоконтроль может оказаться для него губительным, а результат плавания — печальным. Или вспомним притчу о сороконожке, которая, глубоко задумавшись над заданным ей вопросом — с какой ноги она начинает движение и какой заканчивает, — не смогла дальше сделать уже ни одного шага. Вспомним, наконец, как читал свои первые книги на иностранных языках Н. Морозов, — почти не понимал, но читал. А если бы он вместо ударного чтения стал долго и самокритично размышлять о своих ошибках и неточностях в понимании текста и очень страдать по этому поводу, то, я думаю, не только 16, но и одного языка он никогда бы не освоил.

Таким образом, ошибки желательно фиксировать и исправлять, но может быть, еще более желательно — как это ни странно звучит — научиться с ними уживаться, относиться к ним как бы немного свысока и снисходительно. Ведь чем больше мы делаем ошибок, тем, значит, активнее идет обучение. И наоборот. Не зря же говорят: *"The man who makes no mistakes does not usually make anything"* («Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает»).

Но как эффективно отслеживать и исправлять свои ошибки, если занимаешься языком самостоятельно? Выход один: путем сравнения. И здесь мы подходим к одному из самых рациональных приемов самообучения — обратному переводу. Хотя ни Шли-ман, ни Морозов не использовали никаких упражнений, так как принципиально рассчитывали только на свою интенсивную работу с текстами. Большинство как профессиональных лингвистов, так и любителей — «владельцев» иностранных языков — полагают, что очень полезно делать тренировочные переводы с родного языка на иностранный. Ведь когда мы переводим с иностранного на родной, мы по неопытности часто допускаем весьма вольные трактовки. В не совсем ясных местах текста мы не даем себе труда (или просто еще не в силах) докопаться до более или менее точного перевода, как и до его грамматического обоснования, а удовлетворяемся лишь приблизительным пониманием, которое отнюдь не способствует улучшению качества наших познаний в языке (такая приблизительность могла бы способствовать росту познаний лишь при сверхинтенсивном морозовско-шлимановском методе). Другое дело — обратный перевод. Здесь, чтобы получить неискаженный, правильный перевод текста, мы

должны делать все абсолютно точно, то есть в соответствии с законами грамматики. Эта точность и становится залогом овладения языком.

Делая обратный перевод, желательно выполнять следующие условия. Письменно переведя предложение на иностранный язык, не приниматься тотчас за следующее, а сперва проверить себя — сравнить свой перевод с тем, что дается в «ответе», то есть в ключе к данному упражнению, и если допущена ошибка — вот тут уж ошибки надо тщательно выискивать, — ее надо сразу исправить, после чего обязательно (!) переписать это предложение начисто. Почему это очень важно — не просто исправить ошибку и следовать дальше, а записать еще раз это предложение (как затем и все остальные из данного упражнения) в правильном виде и к тому же на отдельный листок или лучше на плотную карточку? Дело в том, что и в этой работе второй этап является не менее, если не более, существенным, чем первый. Ведь этот листок или карточка с предложениями на иностранном языке и их русским переводом на оборотной стороне становится теперь полезнейшим подспорьем в нашем самообучении. Через некоторые промежутки времени (периодичность может быть такова: сначала — на следующий день, затем — через неделю, затем — через месяц, далее — по необходимости) мы должны к ним возвращаться и вновь пытаться уже бегло, без ошибок, глядя только на «русскую» сторону карточки, проделать ту же операцию — перевод на иностранный язык.

Однако и эта форма работы требует усовершенствования. Не секрет, что хороших упражнений с ответами-ключами в учебниках мало, да и те, что есть, уж слишком «учебные», а значит, и — увьи! — нафталинно-скучные. Поэтому я, пытаюсь по возможности следовать принципу: «Пускай трудно, но не скучно» или «Чем труднее, тем веселее», поступал чаще всего следующим образом: брал прочитанную недавно книгу на иностранном языке и целиком или выборочно переводил ее вновь на русский, но уже не устно, а пунктуально записывая свой перевод в тетрадь (пи 5-7 страниц в день, что не слишком утомительно). После чего — в тот же день или на следующий (надолго растягивать этот процесс не имеет смысла) — я делал обратный перевод, то есть опять на иностранный. Характерно, что этот перевод не всегда совпадал с оригиналом, что и понятно. Но я не огорчился, а усердно исправлял огрехи двойного перевода и пытался при этом уяснить, в чем же я дал маху. И вот такой не очень сложный, но чрезвычайно полезный процесс прямого и обратного перевода, который я для себя назвал «языковой мясорубкой» (не очень изящно, но, по сути, точно, так как информация дважды совершает прокрутку в сознании и потому становится легкоусвояемой), является наиболее эффективным для тех изучающих, кто не хочет удовлетвориться степенью владения языком на уровне «вроде так» или «типа этого», а хочет всегда доходить до четкого понимания как текстов, так и устной речи любой сложности.

### **Какие приемы я использовал для развития разговорных навыков в английском и немецком языках.**

С детства, с младшего школьного возраста, мы привыкли много писать. Почти на всех уроках мы или писали под диктовку, или переписывали с доски, с учебника, со шпаргалки, или, наконец, записывали собственные наблюдения и размышления (при наличии таковых) в своих дневниках и сочинениях. И потому у очень многих из нас — даже у тех, у кого от природы восприятие информации благополучно осуществляется с помощью главным образом ушей, то есть слуха, — образовался стойкий рефлекс на записывание. Нам уже часто хочется — когда надо и даже не очень надо — перенести на бумагу ту информацию, которую требуется запомнить, — срабатывает приобретенный рефлекс. Плохо это или хорошо — каждому судить самому, исходя из своего опыта и пристрастий. Но вот что я могу сказать определенно: для изучения иностранного языка этот наш школьно-студенческий рефлекс как раз очень бы не помешало всячески использовать. Для этого надо приучить себя (что совсем несложно) записывать хотя бы некоторые свои мысли на изучаемом языке. Это могут быть даже какие-то отрывочные образы, впечатления, фантазии, воспоминания пр. Делать это можно в таких формах:

- 1) сразу записывать любые свои мысли на иностранном языке;
- 2) сначала записать их по-русски, а затем (тотчас или через некоторое время) уже спокойно и методично попытаться их перевести.

Обе формы по-своему хороши. В первом случае мы тренируем способность к мгновенному, можно сказать синхронному, переводу, что, конечно, предполагает уже наличие некоторых познаний в данном языке. Во втором же случае, имея запись своих мыслей на русском, мы можем более основательно и творчески заняться их переводом.

Однако вот незадача — подчас для хорошего дела нам не хватает просто мелочи какой-то: листка бумаги, карандаша или ручки. Заранее же позаботиться об этом нам, конечно, не с руки. Признавая и за собой подобную беззаботность, я решил наконец с ней покончить. И с тех пор у меня всегда *close at hand* (под рукой) — в сумке, портфеле и в кармане пиджака — имеется две или три ручки {одна обычно куда-то быстро исчезает} и штук десять листков небольшого формата. И вот, казалось бы, такая мелочь, а срабатывает. Действительно, это неизменное присутствие поблизости средств для записей если не вдохновляет, то во всяком случае в чем-то стимулирует и подталкивает: мысли есть, ручка с бумагой — вот они, в кармане, так возьми и запиши, польза-то будет реальная. Это напоминает эффект присутствия самоучителя японского языка у моего товарища, с той разницей, что он там служил для постепенного привыкания и вдохновения, как объект пассивного и отсроченного во времени акта, здесь же ручка с бумагой выполняют роль постоянного стимула к действию сегодня и сейчас, то есть к оперативной записи ежеминутных мыслей в любой благоприятный для этого момент.

И тем не менее я знаю (на себе испытал) — стать даже отчасти *homo scribens* (человеком пишущим — лат.), далее в доморощенном варианте, не так просто. По причине прежде всего психологической — из-за естественной стеснительности («А что окружающие подумают?»). Но и кое-как преодолев это вполне законное чувство (хотя и очень вредное для изучающего язык), уже с ручкой и бумагой в руках поначалу теряешься: а что писать? И выручить здесь может (по крайней мере, со мной так и произошло лишь волевое решение или даже просто

импульсивный *порыв* надо только начать писать, неважно — что, главное — сим с- Делать это можно повсюду: в помещении, в парке, на даче, на пляже и даже на улице (соблюдая всевозможную осторожность). Вспомним, кстати, того же Шлимана, читавшего и учившего тексты не только дома, но и на службе, и на своих курьерских пешеходных маршрутах, не говоря уже о свободных прогулках. Но пойдём дальше Шлимана: начнём записывать на ходу — почему бы и нет? Остановившись иногда в спокойном месте, неторопливо достав из кармана блокнот, будем, пусть понемногу, отрывочно заносить туда пару-другую мыслей, ассоциаций, всплывших вдруг в голове, может быть, как-то связанных с окружающей нас действительностью, с людьми, с пейзажем или бог ещё знает с чем. Далее постепенно можно переходить к чуть более сложным описаниям своих собственных размышлений, эмоций, планов и пр.

Если писать сначала только по-русски, чтобы, придя домой, попытаться перевести свои «записки» с помощью словаря, то лучше использовать самые разнообразные русские слова, но при этом лишь те грамматические формы, в которых мы уже разбираемся (здесь важно соблюдать *the golden mean* (золотую середину) между знанием необходимым и знанием, достаточным на данном этапе, то есть чтобы писать не слишком упрощенно — тогда не будет прогресса, но и не слишком усложнение — тогда прогресс может захлебнуться).

Если пытаться писать сразу на иностранном языке, то те слова, значения которых мы еще не знаем или подзабыли в данную минуту, можно вписать по-русски, чтобы дома найти их в словаре. Если же мы просто сомневаемся в правильности своего перевода каких-то слов или выражений, то их надо подчеркнуть и Дома уточнить по словарю. Еще при этом надо четко осознать, что едва ли не главный наш враг при такого рода записываниях — это стремление все записать по-русски, похудоженственнее. Я раньше не представлял себе, насколько глубоко может корениться в человеке это желание округлить, причесать, принарядить сочиняемый простенький текст, даже если пишешь для себя. Но с этим «внутренним редактором» надо бороться — здесь он только мешает. Пускай поначалу наши записки будут представлять собой почти просто gibberish (набор слов), пускай эти слова будут не очень увязаны друг с другом, пусть они громоздятся на бумаге не слишком изящно и логично — нам «не до жиру», ведь мы пытаемся излагать свои только что родившиеся в голове мысли на иностранном языке или сначала хотя бы на родном. Так пусть же это будет свободный, нерафинированный поток информации. И тем приятнее будет, когда уже вскоре, с приобретением некоторого навыка, наши лоскутные мысли и фразы начнут складываться в какой-нибудь нехитрый, но почти связный и почти художественный (во всяком случае, для нашего уровня) текст.

Желательно, чтобы в этой нашей «прозе» были и повторы слов и оборотов в различных формах и вариантах, и вопросы, и вводные и обобщающие стандарты и пр. Не надо бояться даже речевых сорняков — в результате всего этого только лучше будет отрабатываться изучаемый язык. И еще желательно, чтобы эти импровизационные тексты были не очень формальными и сухими, чтобы в них хоть немного проглядывала наша жизнь в ее многообразии, в ее красках, страстях и противоречиях — ведь все это также отразится на языке, на его более естественном и прочном усвоении. Наконец, неплохо было бы иногда «смазывать» свои тексты хоть самым неприятельным юмором — чтобы не очень «скрипели».

Главное же при всем этом — почувствовать тягу и вкус к регулярному письму, потребность к изложению на бумаге своих самых разных, может быть, даже странных, мыслей, бегущих в голове телеграфной строкой. Интересно, что по мере их записывания количество и качество мысленных образов в голове будет довольно быстро возрастать — мозг словно в благодарность за такую настойчивую стимуляцию станет производить их все больше — только успевай записывать. Так мы почти незаметно втянемся в увлекательный и благотворный творческий процесс по генерированию в самом себе сначала родного, но тут же велел или даже параллельно и иностранного языка, причем не абстрактно-учебного, а вполне живого и повседневного.

Позволю себе привести здесь в качестве примера {возможно, не самого удачного, взятого почти наугад) один из небольших фрагментов моих довольно тогда многочисленных спонтанных текстов, чтобы показать всю их незатейливость, сугубо бытовой характер и даже некоторую легкомысленно-игривую форму. Привожу его на русском языке, как он и был первоначально записан.

*«Я сижу в уютном кафе-кондитерской и пью кофе с булочкой. Кофе горячий. Я пью медленно. Булочка свежая и румяная. На улице холодно, идет дождь. А здесь тепло. В помещении полумрак, звучит негромкая ритмичная музыка. Я здесь почти один. В углу, недалеко от меня, сидит девушка. Она пьет кофе, ест пирожное и читает книгу. Наверно, это студентка. Она читает, а я пишу. Веселая компания, не правда ли? Интересно, а что она читает? Кажется, это учебник. Впрочем, нет, я ошибся. Это скорее всего детектив или сентиментальный роман. Она читает с огромным интересом, она даже забыла о своем кофе. О, да это книга на английском языке, если я не ошибаюсь. Значит, она неплохо знает английский! Молодец! А может быть, это англичанка? Нет, едва ли. Теперь она допивает свой кофе. Не исключено, что она попросит еще чашку кофе, ведь книга у нее, кажется, захватывающая, а на улице так неуютно. Правда, здесь довольно темно, и девушка портит себе зрение. Жаль. А мой кофе остывает, я слишком увлекся своим текстом. Или девушкой? Шутки в сторону. Я ей просто завидую. Она действительно свободно читает по-английски. Кстати, я заметил, что одну страницу она прочитывает примерно за две минуты. Это хороший темп, во всяком случае для иностранного текста. Вероятно, она закончила «английскую» школу, а может быть, просто очень способна к иностранным языкам. Мне же еще не связать и двух слов по-английски. Правда, я не учился в «английской» школе, да и к языкам вообще не способный. Но зато я очень хочу изучить один или два языка и я знаю, как это сделать, — я знаю «ноу-хау». Значит, я достигну своей цели и тоже буду свободно читать по-английски. И говорить — если будет с кем. Я в этом не сомневаюсь. Ну а что там на улице? Дождь, по всей видимости,*

*кончается. Девушка закрыла книгу, убрала ее в сумочку и пошла к выходу. Надо и мне заканчивать мой «манускрипт». Или взять еще кофе и немного посидеть? Нет, на сегодня хватит. Хорошо, если и этот текст мне удастся перевести на английский без серьезных ошибок. Итак, прихожу домой, сажусь за стол и беру словарь. Кроме того, сегодня я должен еще послушать Би-Би-Си на английском, прочитать десяток страниц из Диккенса и кое-что выучить наизусть. Ведь я тоже молодец, не так ли? А теперь вперед. Надо спешить».*

Когда мы записываем свои мысли я размышления, мы расковываемся, развязываем себе руки для мало-мальски творческого общения с самим собой и самовыражения. Ведь почему, например, дети и старики часто вслух сами с собой разговаривают? А потому, что это естественно, этого требует природа — природа непринужденного самовыражающегося мышления. Мы же — те кто старше 7 и моложе 70, — просто глушим себя, искусственно подавляем свою нормальную потребность словесного общения с собственной персоной. Нам кажется, что процесс бессловесного, молчаливого думанья более скор и эффективен. И в общем-то с этим спорить трудно — почти так оно и есть. Но это «почти» для нас (особенно для нас — для изучающих языки) все-таки довольно существенно. Ведь при бессловесном думанье теряется, точнее, изначально и не появляется на свет «конечная продукция» — конкретно сформулированный текст {вслух или про себя — не столь важно). И круг замыкается: если нет навыка четко и обстоятельно формулировать свои мысли, то чаще всего и нет навыка рационально мыслить. Разумеется, эта закономерность неабсолютна. Например, шахматисты и математики мыслят «немыми» образами или чисто логически, слова им могли бы только помешать. Для людей же, занимающихся гуманитарной сферой (языки, история, философия, искусство, журналистика, политика и другое умение облечь свою мысль в конкретные слова имеет большое — если не самое большое — значение.

Но если по различным причинам мы не хотим или не можем систематически беседовать с кем-либо или хотя бы сами с собой, то доверять свои мысли бумаге — это вполне доступное и посильное даже для косноязычных занятие. И кроме того, оно имеет для нас, изучающих иностранный язык, особенно важную функцию: как раз через письмо мы постепенно и приходим к столь полезной форме самообучения, как устный монолог. Дело в том, что сразу, без письменной «артподготовки», заговорить вслух или про себя на иностранном языке — даже если мы уже начали активно читать и запомнили сотни слов — очень непросто при самостоятельном обучении: мешают внутренняя зажатость и отсутствие опыта в свободном выражении своих мыслей и на родном-то языке. В результате же письменной «разминки» — а достаточно хотя бы на пару месяцев стать «писателем» — уже появляется вкус к процессу изложения собственных мыслей. А после этого становится намного легче от письменной речи плавно перейти к устной. И еще: почему лучше записывать свои мысли сразу на месте, где бы мы ни находились в это время — на улице, в помещении и так далее? А потому, что они, к сожалению, имеют обыкновение «испаряться» быстрее, чем хочется. Даже выражение такое есть: «В голове мелькнула мысль». Но ведь то, что мелькает, как правило, не отличается большой устойчивостью {правда, в основном это относится к мыслям-фантазиям, не имеющим прямого отношения к бытовым делам нашей жизни}. Период «полураспада» многих промелькнувших мыслей бывает, увы, слишком короток: где-нибудь на улице они вдруг явились в голову, а привел Домой — глядь... а их и след простыл. По этому поводу еще французский языковед Пьер Буаст заметил: «Мысли похожи на перелетных птиц: если их не изловят сейчас же, то, быть может, никогда не поймут». Впрочем, эта «легкокрылость» многих мыслей лишней раз отражает всю загадочность их происхождения: ведь любая мысль — это звено цепочки, которая существует и развивается в сознании зачастую без нашего видимого участия, отчасти, может быть, и за порогом сознания. Поэтому-то, когда она (мысль) вдруг сама по себе всплывает на поверхность сознания, ее надо сразу и ловить, при этом желательно вытащить на поверхность — как из глубин морских невод с золотыми рыбками — и еще несколько соседних мыслей-звеньев этой цепочки и тут же зафиксировать их на бумаге.

Можно, конечно, и дома написать любой свободный текст и затем перевести его на иностранный язык, но мне такая чисто домашняя работа всегда казалась немного искусственной и традиционно-учебной. Ведь при этом во многом исчезает элемент естественной и сиюминутной импровизация, я бы даже сказал, исчезает некая живая, уличная одухотворенность и непринужденность, а процесс записывания своих живых мыслей превращается в процесс записывания воспоминаний о своих бывших живых мыслях.

Еще одну форму записей на иностранном языке я практиковал, хотя и не очень регулярно, считая ее для себя побочной и в чем-то даже развлекательной, Это — письма. Как я уже упоминал, целиком писем на иностранных языках я не писал. Но почти с самого начального этапа изучения как английского, так и немецкого я старался в письма некоторым своим друзьям и знакомым вводить отдельные слова и словосочетания из этих языков, постепенно увеличивая и усложняя вставки. Я делал так потому, что либо не мог еще правильно и свободно выражать мысли на этих языках, либо — когда уже мог — не хотел озадачивать своих корреспондентов, не владевших достаточно хорошо (за небольшим исключением) данными языками. Да и сам я не вдруг освоил нормальную письменную речь на английском и особенно на немецком. А в письмах даже хорошим знакомым не хотелось допускать ошибок, поэтому и приходилось притормаживать свой порыв блеснуть познаниями в языках (впрочем, порыв вполне простительный для человека, изучающего языки оез некоторого усердия и даже страсти), позволяя себе в столлярном жанре» только заведомо известные грамматические формы, слова и выражения.

В заключение к приемам, так или иначе связанным с записыванием какой-либо информации, хочу добавить, что привычку к записям полезно развивать у себя в любом случае и в любой форме, даже если и только на родном языке. Ведь что такое запись? Это переход от витающих в голове, подчас довольно туманных образов или вовсе их осколков и смутных теней к зримо и осязаемо выраженным на бумаге мыслям. И хотя, по Тютчеву, «...мысль изреченная есть ложь», а слова, как известно, не более чем «костыли духа», все же пока нам приходится общаться с помощью слов, а не телепатических контактов. А любая запись — как отдельных

мыслеобразов, так и целых сюжетных цепочек — тренирует у нас способность к ясности и в то же время к некоторой художественности самовыражения, к концентрации внимания и на внешнем мире, и одновременно на нашем духовном внутреннем мире и даже к определенной философской созерцательности. Она приучает нас не только к самоотчету, лаконичности, но и к насыщенности мышления, она подстегивает нашу не всегда резвую фантазию, импровизационные навыки и другие полезные свойства ума. А все это, вместе взятое, реально повышает и наши творческие возможности при изучении иностранного языка. Давайте же последуем мудрому древнему девизу: *"Nulla dies sine linea"* («Ни дня без строчки» —лат.)

Наряду с записыванием информации с собственных мыслей, я применял и другую форму активного внедрения в язык (впрочем, активность здесь зависит не столько от формы работы, сколько от вложенной в нее энергии). Я пришел к ней не сразу, но зато бесповоротно и окончательно — когда осознал, насколько она полезна. Первоначально увлекшись методами Морозова и Шлимана, я какое-то время только им (а также своим вариантам на их основе) отдавал предпочтение, полагая, что лишь испытанные временем и оправдавшие себя на практике традиционные способы могут мне надежно служить. Но вольно или невольно я пересмотрел свои взгляды, убедившись в пользе, необходимости и даже увлекательности применения и современных средств обучения, хотя и далеко не всех. Ведь мы живем не в XIX веке, да и, кроме того, цель моя, как помнит читатель, была не только «изучательная», но во многом и «испытательная».

Накопив в памяти некоторый запас иностранных слов (300, 500, 700 — точно не знаю, да это и не столь важно) и немного уже побарахтавшись в текстах, я почти случайно вышел на еще один источник ценной лингвообучающей информации — радио. Да, да, доброе старое радио — и не более того. Предвижу разочарование на лицах некоторых читателей, ожидавших услышать скорее всего нечто необычайное и вдруг — *what's all the fuss about* {эка невидаль} — обычное радио, то есть средство информации, ставшее для нас на фоне других, новейших, уже едва ли не архаизмом. И все же именно радио, радиопередачи стали для меня одной из эффективнейших форм приобщения к «живому» иностранному языку.

А получилось это очень просто. Путешествуя как-то по волнам эфира с помощью своего старенького, но еще цепкого на радиоголоса приемника, я обратил внимание на некоторые хоть и иностранные, но почему-то немного знакомые мне слова. И знакомые-то, наверно, скорее из «нового русского», чем из «старого английского»: *sale* (продажа), *change* (обмен, сдача, мелкие деньги), *teen-ager* (подросток), *shop* (магазин), *distributor* (агент по продаже), *racket* (шантаж, вымогательство), *pager* (пейджер), *monitoring* (наблюдение, отслеживание), *high-way* (скоростная автодорога), *establishment* (правлящая элита), *digest* (обзорное издание), *manager* (управляющий) и пр. Это маленькое открытие меня тогда и удивило, и порадовало: оказывается, не владея еще фактически английским, я мог уже хоть что-то различать, узнавать и понимать из «нормальной», то есть не обработанной в учебных целях речи.

С тех пор мой приемник начал приносить мне не только развлечение, но и пользу. Что же я делал? Поначалу просто слушал иностранную речь — почти как музыку, не напрягаясь и не делая судорожных попыток что-нибудь понять. Но постепенно я уяснил, что не только читать, но и слушать можно по-разному, точнее, воспринимать речь на слух можно с разной степенью «доходчивости», которая зависит не только от моего желания и усилий, но и от моих технологических подходов к этому занятию.

Перепробовав разные варианты прослушивания, я остановился на, как мне кажется, наилучшем. Я стал слушать те передачи, в которых дается информация, наиболее интернациональная по своей сути и своей подборке, а значит, и по своей лексике. Это были новости политики, экономики, спорта. Культура выпадала сначала из этого перечня, т. к. там язык более свободный и богатый, тематика более обширная и для меня на том этапе еще не доступная.

Итак, сначала я прослушивал последние известия по-русски, внимательно фиксируя и запоминая изложение диктором всех разнообразных событий и происшествий как в России, так и во всем мире за последние сутки. Особенно обращал внимание на имена и названия, так как потом они служили мне хорошими маяками-ориентирами в океане иностранной речи. Затем я прослушивал сводки новостей по другим радиостанциям, вещающим на английском языке. И слава богу, что планета наша не столь уж велика и разных событий на ней случается за ограниченный период времени не слишком много. Во всяком случае, основные новости передаются каждый час в течение суток почти без изменений, повторяясь и повторяясь, лишь изредка с дополнениями и вариациями, что очень здорово для начинающего слушателя который с первого и даже со второго раза еще не в состоянии понять смысла прослушанной передачи.

Я активно стал использовать именно этот фактор ежечасной повторяемости сводок новостей: включал приемник всего на пять-шесть минут, но по нескольку раз в течение дня (это могло быть и утром, и днем, и вечером — как удавалось). Я заметил, что именно в этом случае и получался наибольший эффект в понимании иноязычной речи — как за счет многократной повторяемости, так и равномерного распределения таких прослушиваний в течение дня или вечера. Вероятно, в периоды пауз мозг продолжал как-то обрабатывать и доусваивать полученную информацию, и потому каждое новое 5-минутное прослушивание проходило для меня уже чуть легче предыдущего. В результате мне уже с самого начала удавалось кое-что схватывать и распознавать из почти еще «птичьего» для меня английского (как; затем и немецкого) радиоязыка.

Большое значение имел и психологический фактор: я слушал иноязычную речь, я пытался преодолеть препятствие, казалось бы, непреодолимое — я пытался понять непонятное. Сам факт таких моих высоких притязаний, такой дерзости уже как-то укреплял мои силы, бодрил и обнадеживал. Но и чисто учебная польза была налицо. Из месяца в месяц, почти ежедневно, затрачивая каких-то 20-25 минут за вечер, я упорно входил в бурлящий поток звуков иного языка, иного мира. Оказалось также, что наибольшая польза от систематических радиопрослушиваний ощущалась тогда, когда я не просто пассивно внимал диктору, а пытался туг же хоть что-нибудь повторить вслед за ним. Да, повторить — зачастую даже не понимая смысла повторяемого слова или ряда слов. Разумеется, я отдавал себе отчет, что это сильно смахивало на манеры одной известной птицы. И все-таки я это делал, понимая, что даже механическое копирование и подражательство играют при изучении



языков не последнюю роль, развивая скорость и цепкость восприятия, не говоря уже об отработке произношения. Более того, после окончания прослушивания каждой пятиминутки я пытался и записать, хотя бы отрывочно, ту информацию, которая еще оставалась в памяти. Пусть с ошибками и в крайне телеграфном стиле, но это были уже мои «письмена», мои дерзновенные попытки отразить на бумаге только что прозвучавшую речь и тем самым даже и здесь как бы отдать дань своей излюбленной форме работы с информацией — письменной.

Постепенно, по мере расширения своего словарного запаса обычным путем — через чтение и запоминание, вслушивание в радиоголоса становилось все более осмысленным. Я понимал уже не только отдельные слова, но все чаще почти целые фразы, целые смысловые «островки». Я мог теперь иногда даже позволить себе роскошь не прослушивать предварительно передачу на русском языке, а сразу начинать с иностранного. Короче говоря, происходил уже знакомый мне по работе с текстами процесс постепенного и незаметного стирания границ между «не могу», «чуть-чуть могу», «довольно сносно могу» и наконец «все могу».

Конечно, сейчас легко об этом вспоминать. Тогда же это упорное внедрение в россыпи и массивы чужеродных звуков, интонаций, ритмов, в саму фактуру (я бы даже сказал, в абсолютно еще неизведанные для меня галактики) английской и немецкой речи было, честно говоря, не самым приятным и желанным времяпрепровождением. В иные дни приходилось, подобно известному барону, просто брать себя за вихры и усаживать перед шкалой радиоприемника. Впрочем, сравнение с тем бароном сильно хромает, поскольку ему-то было проще: все свои приключения он лихо извлекал из собственной фантазии, я же организовывал свои «лингвистические приключения» в реальной жизни, которая к тому же не всегда им благоприятствовала. Но, повторюсь, великая штука -- привычка, тем более если она полезная и мы хорошо осознаём всю ее пользу. Я постепенно приохотился к радиоречи настолько, что у меня появились какой-то азарт и чувство состязательности с самим собой — как и при чтении трудного текста: а вот пойму ли я это беглое сообщение об очередном тайфуне где-нибудь на Бермудах или этот *Life Sendung* («Репортаж с места события» — *англ.-нем.*) об очередном марше протеста воинственных домохозяек или феминисток где-нибудь в Кёльне или Ганновере.

Интересно, что окружающие, наблюдая мои первоначальные затруднения у радиоприемника, давали мне советы не мучить себя понапрасну, а перейти на облегченный вариант — на прослушивание учебных аудиокурсов. Но я не поддался искушению пойти более простым путем и терпеливо продолжал прислушиваться к беглой живой речи, приучая себя, образно выражаясь, сразу рискованно плавать в штормовом море, нежели комфортно прохлаждаться в тихой заводи. И причиной тому были не фанатизм или какие-то мои особые волевые качества, а лишь большое желание и в работе с радиотекстами — как и с письменными текстами — не отходить далеко в сторону от принципов интенсивного обучения Морозова и Шлимана. И еще меня тогда немного согревала мысль — быть может, и наивная, — что окажись Морозов или Шлиман на моем месте, они бы поступили примерно так же. Что ни говори, *moral support* (моральная поддержка), даже воображаемая, — не последняя вещь в нашем творческом деле.

## Как я усвоил грамматику этих языков

Кратко расскажу о своих взаимоотношениях с грамматикой. Кратко — потому что проблема усвоения иноязычной грамматики является, как я убедился, вовсе не настолько сложной, насколько она нам таковой подчас представляется. Скорее, наоборот: она решается почти автоматически и довольно быстро, если найти к ней соответствующие и лучше всего свои индивидуальные подходы. Правда, выбор здесь небольшой.

Я не утверждаю, как и во всех других случаях, что именно мои подходы и в отношении грамматики также были наилучшими. Но они мне существенно помогли, и поэтому я хочу о них рассказать.

Как уже отмечалось, наиболее естественными и эффективными способами познания грамматики (как и всего языка в целом) являются способы Морозова и Шлимана. Они учат нас черпать грамматические познания из стихии самого языка, почти не используя при этом вспомогательные средства — учебники, справочники и пр. Однако применение этих способов возможно лишь при уже известном обязательном условии: обучение должно происходить крайне интенсивно и с максимальной самоотдачей. Что могут себе позволить очень немногие.

Другой путь — чисто школьный, то есть традиционный и консервативный в худшем значении этого слова. Его принцип: немного теории, немного упражнения, немного чтения, немного го ворения. Убогие результаты такого «размазывания» всем нам хорошо известны,

Наконец, третий путь, наиболее, на мой взгляд, разумный для большинства изучающих языки, — это путь срединный, сочетающий плюсы первого и второго и устраняющий их же некоторые минусы. Как раз по такому «синтетическому» пути я тогда и пошел, хоть не сразу, но все же уразумев, что в чистом виде ни первый, ни второй путь не приведут меня к намеченной цели: первый потому, что, как знает читатель, он был для меня просто физически неприемлем, второй же потому, что по своей эффективности он уж очень напоминал тот маяк из одной детской шутки, который то потухнет, то погаснет.

Итак, презрев старую латинскую мудрость: *“Tertium non datur”* (^Третьего не дано»), я избрал «третий путь», обосновав свое грамматическое кредо следующим образом. Грамматика — это основа нормального, правильного языка, это его скелет. Скелет нельзя просто выучить. Сначала надо его разобрать по косточкам, понять принципы его устройства и сочленения его элементов. А затем к этому пониманию добавить хорошую порцию тренинга, то есть теоретическое знание подкрепить мощной практической отработкой. Грамматика — это система, значит, и изучать ее желательно тоже по системе, лучше — по рациональной системе. Именно такая, на мой взгляд, система постепенно у меня и сложилась. Она покоится на трех основных опорах или принципах.

### Принцип № 1.

Сначала я прочитывал какой-либо раздел грамматики по небольшому, но хорошему самоучителю. Но это был предварительный этап, поскольку в голове от такой читки обычно оставалась довольно туманная картина. Я

понимал, что надеяться только на учебник, на авторское изложение грамматических хитросплетений не имеет большого смысла. Психология говорит нам, что лишь тот материал усваивается прочно и основательно, который «пережеван» и «переварен» нашим собственным сознанием. Это значит, что любой теоретический материал, и особенно такой, как некоторые не очень вразумительные грамматические Разделы, необходимо максимально организовывать усилиями как своей логики, так и своей фантазии. При этом необязательно как-то особо изощряться, достаточно хотя бы немного видоизменить, аранжировать книжный материал, переложить его на язык собственных мыслей. Особенно полезно производить фантазийные трансформации с грамматикой не только мысленно, то есть в воображении, но почаще использовать карандаш и бумагу. Ведь «то, что написано пером, не вырубишь топором», то есть то, что мы можем перенести на бумагу в виде каких-то схем, значков, сокращений, кроков (набросков), наконец, просто слов, записанных в определенном порядке, иначе говоря — все то, к чему мы так или иначе прикладываем не только мысль, но и свою руку, преобразуя сухой книжный материал на свой лад и по своему усмотрению, — все это гораздо лучше впрессовывается в наше сознание, становится нашей личной и потому уже неотъемлемой интеллектуальной собственностью. Поэтому именно так я и стал подходить к некоторым грамматическим деталям, которые обычным, «лобовым» путем не очень-то спешили уложиться в моей голове. К примеру, для лучшего усвоения ряда английских предлогов я изобразил на бумаге их направленность.

И хотя данный пример элементарной схематичной наглядности отнюдь не был моей находкой, все же картинки, начертанные собственной рукой с последующим двух-, трехразовым повторением, оставили в памяти более глубокий *imprinting* (отпечаток), нежели был бы тот, который остался бы без их соучастия.

А вот некоторые наиболее употребительные немецкие предлоги я и сам расположил — после перебора нескольких вариантов — таким образом, что накрепко теперь запомнить их «привязанность» к определенным падежам (падежное управление) было уже не проблемой, а скорее удовольствием.

В последние годы издается немало учебников и пособий по иностранным языкам с многочисленными таблицами, схемами и прочим системно изложенным материалом. Но достаточно осязаемый эффект от них можно получить лишь в том случае, если не просто читать или просматривать все эти таблицы и схемы, а собственноручно и — что особенно важно — по памяти записывать и зарисовывать их, стараясь хоть как-то их духовно «приватизировать», то есть включить во внутренний мир своих мыслей и представлений.

Однако сфера действия такой трафики — при всех ее достоинствах — все же ограничена, поскольку великое разнообразие грамматических правил, как и исключений из них, нельзя выразить лишь с помощью таблиц, схем и рисунков. Что, например, делать с почти бесконечными формами времен, типами глаголов и других частей речи, а также их сочетаемостью друг с другом и взаимодействием? Как это-то все уложить в систему или хотя бы в какие-то, пусть доморощенные, но более-менее рациональные границы-рамки?

Столкнувшись с этим вопросом, я стал решать его, как это чаще всего со мной и происходило, *by trial and error* (путем проб и ошибок). И постепенно пришел к выводу, что такими рамками, такой системой или, образно выражаясь, таким буксиром (с помощью которого — скажу, забегая вперед, — я и перетащил вскоре целый воз грамматики из учебников в свою голову) должна стать система грамматических карточек. Эта система карточек и явилась вторым принципом в моей триаде эффективного усвоения грамматики иностранного языка.

### **Принцип № 2.**

Изготовив самостоятельно или где-то раздобыв стопку небольших карточек из плотной бумаги, размером примерно с футлярчик от магнитофонной кассеты, я выписывал из грамматического справочника на каждую из карточек одно, два или три (но не больше) предложения в качестве образца-примера по какому-либо правилу. На обороте — русский перевод. Обычно карточки советуют использовать для записи иностранных слов в целях заучивания. Я же предпочел заносить на карточки целые фразы-формулы, демонстрирующие конкретные правила грамматики. Слова, на мой взгляд, разумнее выписывать в блокнот — хотя бы потому, что он компактнее, чем стопка карточек, и е: о можно, к примеру, не без пользы взять с собой на прогулку, к поездку и т. д. (впрочем, словарные карточки я также период\*! чеки и в определенных целях охотно использовал — об этом к следующей главе). Иное дело — речевые обороты с хорошо т/добранной грамматической «накачкой», играющие для нас роль шаблонов, колодок, лекал. Таких карточек, иллюстрирующих почти все основные правила и случаи грамматики, достаточно составить не так уж много — порядка 100-150 штук. Это не займет слишком много времени, да и сам процесс выписывания будет полезен. Плоды же этой скрупулезной, но не очень обременительной работы начнут ощущаться весьма скоро: вся махина еще вчера совершенно непонятной или туманной грамматики станет вдруг выкристаллизовываться и принимать четкие и ясные очертания, доступные для понимания и запоминания.

Кстати, о понимании. Изучая иностранную грамматику, но не будучи профессиональным лингвистом, я никогда не пытался глубоко вникать в лингвистическую терминологию или подробно разбирать кружевные узоры грамматических конструкций. Я и здесь старался выдерживать относительно среднюю линию между теорией и практикой языка, и как раз мои грамматические карточки и выполняли полезную роль лаконичных, но емких и эффективных посредников между теорией грамматики и практикой ее применения. Эта их роль была особенно полезна именно для меня — человека, не слишком искусственного во всех тонкостях англосаксонской грамматической кухни.

Итак, соорудив не такую уж большую картотеку с образцами разных грамматических форм, я затем старался ежедневно заучивать пять-шесть карточек, то есть целенаправленно вооружать себя готовыми грамматическими формулами на все случаи жизни. Никакой тематической последовательности или таковой по нарастанию сложности я почти не придерживался. Запомнив в течение одной недели 25-30 карточек, я делал на несколько дней перерыв, чтобы, ежедневно тасуя их и вытягивая Друг за другом, проверять усвоенное и утрясать в голове. Так я организовывал в своей памяти набор готовых к постоянной службе мне

грамматических стандартов, на которые — как на опорные конструкции строящегося здания — можно было уже наращивать все новые и новые «этажи» языка.

Но даже когда я в скором времени надежно закрепил в уме всю эту систему грамматических конструкций, я все еще чувствовал большой разрыв между теорией (знанием) и практикой (применением этого знания). Мне было еще трудно быстро и точно сориентироваться в тексте — я уж не говорю про разговорную речь — и распознать в длинном и витиеватом предложении ту или иную знакомую мне грамматическую форму. И тогда я понял; нужен тренинг. Нужно развить навык. Средств для этого в условиях моей добровольной автономности было на выбор всего два. Первое: массированная тренировка на огромном количестве упражнений. По моей примерной оценке, чтобы отработать только одно грамматическое правило, то есть довести его исполнение до автоматизма, до рефлекса, до свободного использования в любой ситуации и под любым языковым «соусом», надо «провернуть», то есть использовать это правило в различных фразах и словосочетаниях не менее ста раз. Но если учесть, что к тому времени у меня уже было написано около 150 карточек, каждая из которых отражала то или иное правило, то нетрудно подсчитать, что общее число необходимых упражнений составило бы порядка 15 тысяч. Представив себе такую перспективу, я хотя и был тогда морально готов к большим объемам работ, все же немного приуныл. Да и где было раздобыть столько конкретных, упражнений, упражнения, к тому же снабженных ключами, то есть правильными вариантами перевода для самопроверки? Обложиться кругом десятками учебников и выискивать в них соответствующие каждому правилу упражнения? Нет, на такой лингвистический подвиг, даже при всей моей нацеленности на конечный результат, я не мог подвигнуться, да и задача моя была иной: меньше голого тренинга на мертвом, вырванном из контекста материале, больше погружения пусть в сложный, но живой и живительный язык. Впрочем, как помнит читатель, какое-то время на начальном этапе я использовал упражнения с «ключами» — когда делал обратные переводы (с русского на иностранный). Но эту традиционно учебную форму работы, хотя и очень полезную, я практиковал недолго, поскольку просто не получал от нее удовольствия, делая ее в основном по причине своей принципиальной установки: испытать на себе как можно больше различных приемов языкового самообучения.

Поэтому я и обратился вскоре к другому, более органичному да и более доступному средству отработки грамматики — к книгам. Так родился мой третий принцип непринужденного и плавного приобщения к грамматике.

### **Принцип № 3.**

Да, я вновь предпочел идти путем Морозова и Шлимана, хотя опять-таки с некоторыми своими вариациями и особенностями. В данном случае главная особенность состояла в следующем: во время чтения художественной литературы на иностранном языке возле меня неизменно «дежурила» моя бесценная (разумеется, лишь для меня бесценная) грамматическая картотека. Предварительно я рассортировал все карточки по грамматическим разделам и темам, то есть это была уже четко упорядоченная система языковых шаблонов или, если угодно, шпаргалок, что и облегчало ее использование.

И вот, читая какой-либо текст и наткнувшись на не вполне ясное в грамматическом отношении место, я обращался к своей картотеке и, немного порывшись, извлекал из нее ту или примерно ту (то есть близкую к данному случаю) карточку, на которой была зафиксирована необходимая мне грамматическая форма. К тому же сам процесс поиска нужной карточки также был очень полезен, так как волюно или неволюно я краем глаза просматривал и соседние карточки, а значит, еще лучше закреплял их в памяти. Но зачем же, спросит читатель, я все-таки извлекал из своей картотеки необходимые карточки, если предварительно всю эту картотеку я и так уже неплохо уложил в своей памяти? А дело в том, что на каждой карточке у меня обязательно был обозначен источник данной информации, то есть тот учебник или справочник, из которого был выписан грамматический пример, и номер их страницы. И довольно часто, особенно поначалу, я не удовлетворялся лишь одним или двумя грамматическими примерами, приведенными на карточке, а тут же обращался к учебнику, чтобы более подробно изучить или повторить не вполне еще ясное для меня правило грамматики.

Постепенно я стал замечать, что у каждого автора в его книгах преобладает не только определенная, типичная для него лексика, но и определенные, излюбленные данным автором грамматические формы (времена, причастные и прочие обороты, пре-прямой или косвенной речи, полных или неполных предложений, порядок слов, само строение предложений и пр.). Поэтому, как правило, уже в первой четверти романа (повести, рассказа) мне становился ясен не только литературный стиль писателя, но и основные детали грамматической «паутины» его произведения. И это упрощало дальнейшее чтение книги: чем дальше я продвигался вперед, тем реже приходилось пользоваться грамматическими шаблонами.

Такой естественный подход к грамматике начал постепенно приносить свои плоды: я стал все лучше в ней ориентироваться практически, перестал испытывать неуверенность перед сложными грамматическими казусами, зная, что у меня всегда под рукой мой «золотой запас» — моя картотека; да и сами эти казусы стали понемногу как бы мельчать, а затем и вовсе сходить на нет. Вот так я почти незаметно «перепрыгнул» через этап, казалось бы, неизбежных при изучении языка тренировочных упражнений, и всегда непостижимо-загадочная для меня грамматика (я имею в виду те периоды моей жизни, когда несколько раз я пытался наскоком взяться за изучение английского) на этот раз наконец-то вполне естественным путем влилась в основной поток моих языковых познаний.

Кстати, как-то я прочел статью об одном оригинальном преподавателе музыки, который обучал своих подопечных не по традиционной программе (гаммы, этюды и другие преимущественно тренировочные формы игры), а по своей собственной новаторской системе. Его счастливые ученики, минуя этап отработки бесконечных и скучнейших гамм и арпеджио, почти сразу переходили к разучиванию пьес, сначала легких, затем все более сложных. Казалось бы, это абсолютно «ненаучно» и противоречит всем канонам музыкальной педагогики, так как не дает юному музыканту необходимых навыков в технике игры и даже может «испортить руки». Но самое-то удивительное было то, что ученики этого педагога, напротив, вскоре вырывались вперед и

достигали в итоге больших успехов (причем кат; в качестве самой игры, так и в достаточно объективных конкурсных показателях), чем их сверстники, обучаемые традиционным путем.

Следовательно, не одинок я был в своих исканиях, и данный принцип (минимум абстрактного тренинга, максимум животворной практики) может торжествовать не только при изучении языков, но даже и в таких высокотворческих сферах, как музыка, а возможно, и в других искусствах и науках. Ведь, как сказал еще Гёте в «Фаусте», хотя и устами Мефистофеля;

*Стаи, teurer Freund, ist die  
Theorie Undgrun des Lebens goldner Байт.*

(Суха теория, мой друг,  
А древо жизни пышно зеленеет – нем)

## Глава 4

### НАША ПАМЯТЬ - ТАК ЛИ МНОГО ОТ НЕЕ ЗАВИСИТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА?

#### Как я решил проблему своей недостаточной памяти

*You never know what you can do till you try  
Никогда не знаешь, что ты можешь сделать,  
пока не попробуешь*

Наверно, почти каждый человек, изучающий иностранный язык, чуть раньше или чуть позже оказывается тет-а-тет перед вечным вопросом: «А почему? Почему я не обладаю хотя бы более-менее приличной памятью, не говоря уже о какой-то выдающейся? Почему кто-то может хорошо запомнить сотню иностранных слов за полчаса, а у меня и пять слов через пять минут испаряются из головы без всякого сухого остатка?» Правда, никто из горько вопрошающих, как правило, и близко не видел объекта своей зависти — этого счастливого обладателя необыкновенной памяти, — хотя что-то в этом роде где-то читал или слышал.

Знакомая ситуация, не правда ли? Как говорится, и я там был. В смысле — в этой многочисленной компании не слишком обремененных блестящей памятью страждущих. Но вот, что называется, возроптав на судьбу и поставив себя в условия до некоторой степени языкового эксперимента, я решил заодно разобраться, как ни громко это звучит, и с проблемой памяти. Разумеется, меня интересовала не столько теория этого сложнейшего и едва ли когда-нибудь имеющего быть полностью изученным вопроса, сколько его практическая сторона: может ли обычный, средний человек значительно усилить свою память и каким образом.

Изучив и просмотрев десятки книг и пособий — от очень научных до очень популярных — по проблеме запоминания и усвоения информации, я в итоге почувствовал себя втянутым в водоворот самых различных, а иногда и противоположных концепций и аргументов. Причем по мере постижения премудростей данной тематики я все же пока так и не мог однозначно и обстоятельно ответить на главный вопрос: «Как?» — как мне реально и достаточно ощутимо повысить к. п. д. своей памяти? При этом дельных советов было немало, кое-какие из них, наиболее многообещающие, я стал использовать — и не без некоторого успеха. Но мне хотелось большего, хотелось решить этот вопрос радикально и раз и навсегда. Поэтому я продолжал вникать в него все глубже и одновременно тренироваться.

Однако постепенно и произвольно в голову стала все чаще закрадываться некая крамольная мысль: а есть ли вообще резон в моих поисках и занятиях, не гонюсь ли я за призраком? По мере дальнейших размышлений и сопоставлений эта обескураживающая мысль обрастала все новыми фактами и догадками, которые, несмотря даже на достаточно критическое к ним с моей стороны отношение, все же в один прекрасный день не могли не подвести меня к единственно, на мой взгляд, возможному и логичному выводу: тренировка памяти, будучи лишь абстрактной, то есть оторванной от конкретного учебного процесса (например, от изучения тех же иностранных языков), сама по себе не приносит особой пользы.

Не скрою, я сам поначалу был смущен таким, мягко говоря, нестандартным и даже как бы антипедагогическим завершением своих раздумий. Ведь подавляющее большинство педагогов, психологов и авторов пособий по интеллектуальному развитию не устают призывать нас к тренировке памяти с помощью всевозможных как традиционных, так и самых утонченных и изысканных методов и приемов. Называют даже конкретные сроки Достижения результата: за 2—3—4 месяца память улучшится во столько-то раз. Кстати, замечу сразу, что я отнюдь не сомневаюсь в добросовестности этих авторов и в их конкретных, ласкающих ухо цифрах. Все это вполне реально, но... имеются, оказывается, и очень упрямые контраргументы. О них, как и вообще о своей позиции по этому вопросу, я расскажу чуть ниже, сейчас же, завершая эпизод с моим «прозрением», хочу только добавить, что впоследствии, отказавшись от старых стереотипов в отношении памяти, развивая свою идею и находя ей все больше подтверждений в жизни, я стал относиться к ней уже не только как к оригинальному и даже эпатажирующему повороту мысли, в чем-то свежей по форме, но бесплодной по существу, а как к достаточно убедительному обоснованию и стимулу для дальнейших своих практических действий. И опять-таки именно практика показала, что это была не игра заплутавшей в парадоксах фантазии, а реальная основа для выхода на интересующие меня вопросы обучения и, в частности, на иностранные языки. Но теперь

об этом по порядку и с небольшим теоретическим подходом к теме. Память в самом простом, бытовом, понимании — это процесс запоминания, хранения и воспроизведения информации. Собственно же запоминание есть не что иное, как закрепление в сознании новой информации путем связывания ее со старой, то есть уже там присутствующей. Значит, чем прочнее произойдет это закрепление-связывание, тем лучше что-либо и запомнится. Отсюда наша задача: обеспечить качественное и интенсивное запоминание путем максимально глубокого и гармоничного взаимоувязывания информации. Надо также учесть, что при процессе запоминания явно срабатывает принцип, как я его называю, «информационной гравитации»: информация всегда тяготеет к информации (а не к пустому месту), то есть чем больше какой-либо информации уже имеется в памяти, тем лучше и быстрее к ней присоединяется новая. Это легко пояснить на примере снежного кома: чем больше становится ком по мере скатывания с горы, тем большее количество снега налипает на его все возрастающую поверхность за один его оборот вокруг своей оси. Конечно, этот пример больше отражает лишь механическое свойство неживой природы. Присоединение же любой «живой», интеллектуальной информации в сознании человека происходит по своему «живому» и разумному принципу. Принцип этот состоит в рациональной обработке информации - в ее расшифровке, сортировке, перекодировании и структурировании. Отсюда также простой вывод: нашей памяти надо по возможности помогать. Ее работу надо организовывать в как можно более творческом режиме, основанном как на активном восприятии информации, так и на активном размышлении, на обдумывании своих впечатлений. Ведь память — это не шкатулка, не кладовая знаний, хотя мы часто образно так ее называем и не восковая дощечка, на которой отпечатывается все, что на нее попадает, как полагали мудрецы в Древней Греции. Памяти в «чистом виде», как механического впечатывания в сознание любой информации, у человека нет. Таковой она сегодня может быть лишь у компьютера, у которого она, впрочем, хотя и почти безгранична, но мертва, поскольку лишена важнейших граней подлинного интеллекта — фантазии и интуиции.

Человеку же всякую новую для него информацию надо живейшим образом отрезонировать в сознании, в душе, получить необходимый всплеск мыслей и чувств — даже если они будут почти незаметны для самого хозяина (я бы это сравнил с эффектом подводного вулкана), — и тогда в памяти наверняка останется если не вся, то уж точно большая часть этой информации. И вот способность-то к этим «всплескам» и нужно тренировать и всячески ее в себе культивировать. В этом случае работа памяти предстанет не как утомительный процесс запоминания-заучивания с сомнительными результатами, а как увлекательный акт эффективного познания. Однако если после этого читатель сделает вывод, что, размышляя подобным образом, я стал тогда противником обычной тренировки памяти, то он ошибется. Даже тренировка так называемой «механической памяти» может принести пользу, тем более если ее проводить регулярно и целеустремленно. Остается лишь вопрос кому, для чего и при каких обстоятельствах эти тренировки могут быть реально полезны (еще Козьма Прутков заметил: «Полезно или вред действия обуславливается совокупностью обстоятельств»)? Не секрет, что абсолютное большинство пожелавших развить свою память и азартно приступивших к занятиям довольно скоро (через неделю, через месяц) под разными, якобы объективными, предлогами их забрасывают. Оставшиеся же единицы наиболее стойких выдерживают дольше, достигают даже определенных результатов, хотя и не тех, что мечталось, и все-таки также прекращают тренировки. Я это заявляю столь уверенно потому, что основываюсь на своих многочисленных опросах по этой теме среди школьников и студентов да и на собственном опыте. Интересно отметить, что причина неудач или, скажем мягче, не слишком впечатляющих достижений кроется не только в довольно быстро проходящем энтузиазме из-за необходимости преодолевать всё возрастающие трудности, наращивать волевые усилия по мере увеличения объемов запоминаемой информации. Отрезвление происходит в основном оттого, что раньше или позже перед человеком неумолимо встает простой житейский вопрос: «И что же, теперь мне придется таким нещадным образом напрягаться всю жизнь? Ведь если я вдруг — мало ли по какой причине — прерву или совсем прекращу свои запоминательные тренировки, то моя вроде и впрямь немного окрепшая память наверняка быстро вернется к исходному уровню. А стоило ли тогда начинать?» И на этом вопрос обычно закрывается.

Вот потому-то я и не хочу лишний раз призывать к якобы чудодейственным тренировкам памяти (в идеале и действительно чудодейственным, но для «очень подавляющего большинства» все же практически нереальным, а значит, уже как бы и нечудодейственным — такой парадокс), не хочу порождать иллюзии и соблазны, которых и так в жизни (даже только в учебной жизни) хватает. Постоянно поддерживать жар в топке на неизменно высоком градусе — задача не для нормальных (так называемых «средних», обыкновенных) людей. А я пишу эту книжку для них, будучи и сам таковым, а не для избранных одиночек.

«Да уж, — наверно, подумает иной читатель, — а я-то планировал: вот на каникулах (в отпуске) будет побольше времени и начну наконец свое интеллектуальное совершенствование. Буду память тренировать, задачки шахматные решать и прочее в этом духе». И прекрасно, скажу я такому читателю. Шахматные задачки и разные головоломки — это и приятно, и полезно. А вот к памяти лучше подойти с другого конца: не тренировать ее отдельно и специально, а всего лишь по-настоящему нагружать, подобрав для этого какую-то значимую для себя и конкретную (а не абстрактную) цель. То есть чтобы тренировка также имела место, но была бы уже не основным, не подавляющим процессом, а побочным и косвенным, была бы не причиной нагрузки на память, а ее следствием. Иными словами, было бы желательно, чтобы тренировка памяти стала занятием не искусственным, а ненавязчиво-естественным. И вот здесь мы и возвращаемся к нашей главной теме — ведь такой конкретной и достойной целью для хорошей нагрузки на память как раз и является овладение иностранным языком или тем более несколькими языками. При этом мы и получаем воистину 100-процентный шанс, как говорят англичане, *to kill two birds with one stone* (убить одним камнем двух птиц).

### **Моя техника запоминания.**

#### **Как я научился усваивать иностранные слова в необходимом количестве**

Итак, уяснив однажды важную для своего дальнейшего самообучения мысль о бесполезности или, во всяком случае, непрактичности абстрактных тренировок, я на этом не остановился, а продолжил искать реальные подходы к активизации памяти. Я уже догадывался, что при запоминании какой-либо информации большую роль играет не только сила памяти, данная от природы, но и другая полезнейшая способность человека (кстати, и лучше, чем первая, поддающаяся совершенствованию) — способность разумно, расчетливо управлять и распоряжаться своей пусть даже самой умеренной памятью. Именно эта способность может неплохо компенсировать отсутствие врожденной мощной памяти. Ведь наша память — это как оружие в руках: можно палить из него неумело и невпопад, а можно точно прицелиться и попасть в цель. Продолжая это «оружейное» сравнение, можно еще сказать и так: лучше иметь обычную винтовку и метко стрелять из нее по намеченной цели, чем обладать пушкой, но бить из нее в чистое небо.

Подобные раздумья подвели меня к пониманию необходимости сознательного управления своей памятью. Я вновь начал рыться в литературе, разыскивая те, возможно еще скрытые от меня, психологические рычаги и кнопки, использование которых позволило бы мне стать настоящим хозяином и активным пользователем своей памяти. Как и прежде, я опять стал выскидывать примеры для хотя бы в какой-то степени подражания. За некоторыми из них далеко ходить не пришлось, они давно уже были в моем поле зрения.

Иван Иванович Соллертинский. Фантастически талантливый музыковед, критик, публицист, филолог, преподаватель и профессор ленинградской консерватории в 20-30-е годы. Для нас же наибольший интерес представляет то, что он, ко всем прочему, еще и владел более двадцатью языками и ста (!) диалектами. Да, несомненно, ему многое было щедро дано от природы, и все же нам стоит повнимательнее к нему присмотреться и, быть может, сделать бесполезные выводы, а то и кое-что перенять, и не только из технологии его творческой работы, но и из всего стиля и ритма его жизни — стремительного, неугомонного и какого-то вдохновенно-феерического.

Память его была феноменальна. Любую информацию (даже достаточно сложные искусствоведческие и лингвистические тексты) он не изучал и не запоминал усердно в обычном, среднем темпе, как это делают большинство из нас, и даже не поглощай с высокой скоростью, как это делают наиболее способные из нас, — он ее всего-навсего как бы фотографировал. Но прочитанная, точнее, воспринятая таким образом информация представляла собой не просто «фотографию», безжизненную репродукцию — она была им одновременно и почти мгновенно критически оценена, интеллектуально обработана, усвоена и отложена в памяти на очень хорошее сохранение. Такое чтение иногда называют «партитурным» — как дирижер по лежащей перед ним партитуре видит запись партий сразу всех групп инструментов оркестра, так и человек, читающий текст партитурным методом, охватывает одним взглядом всю страницу текста сразу и целиком. Соллертинский же одновременно не только видел, но и запоминал эту страницу. Впрочем, обе его способности — сверхитенсивно читать и сверхнадежно запоминать — проистекали и одного источника: из особенности его крайне объемного, полифонического и цепкого восприятия информации, из свойства его ума мгновенно схватывать ее, тут же «препарировать» и усваивать. Какая из этих способностей первична, сказать нельзя, да и не имеет смысла — это то же самое, что попытаться определить, к примеру, какое из двух полушарий мозга главнее, правое или левое. Хотя... Сейчас многие ученые полагают, что возможность активизировать работу правого полушария открывает перед человеком грандиозные перспективы, так как именно оно ответственно за творческие озарения и гениальные прозрения. Но подробнее об этом, как и о том, каким образом и я в силу своих возможностей и, конечно, не претендуя на гениальные прозрения, старался использовать скрытый потенциал правого полушария при изучении иностранного языка, — немного позже.

Итак, на вопрос, была ли память И. И. Соллертинского хотя бы отчасти следствием его фотографического способа чтения, пожалуй, можно ответить — нет. Скорее всего она была только его спутником. Ведь известно, что прямой и полной зависимости памяти от способа и скорости чтения не наблюдается: можно читать быстро, с хорошим запоминанием, а можно медленно — с плохим. Или наоборот. И все же некоторая интересная закономерность имеется и здесь. И она дает нам неплохой шанс. Дело в том, что при традиционном для нас медленном чтении (200-300 слов в минуту) мы обычно запоминаем информацию в присутствии нам качественного диапазона — кто-то получше, кто-то похуже, но всегда в определенных и привычных для нас границах. Если же скорость чтения начать постепенно повышать (я не имею сейчас в виду способ фоточтения), делая это по широко ныне известным методикам быстрого чтения (скорочтения), то окажется, что и восприятие (запоминание) будет не только ускоряться, но и качественно улучшаться.

Подметив как-то раз эту особенность и на себе самом, я вскоре сумел поставить ее на службу своему языковому штудированию. Правда, не сразу и не вполне по канонам скорочтения. Сначала я просто не мог сообразить, где и как мне использовать эту особенность ускоренного восприятия информации. Ведь обычно она проявляется на материале родного языка, где можно произвольно уменьшать или увеличивать скорость чтения — в определенных, конечно, пределах. Мне же надо было реализовать ее в иностранном языке. Но на нем я не мог еще регулировать скорость чтения, что и понятно. Как быть? И я задался вопросом: нельзя ли преимущества ускоренного восприятия перенести, хотя бы отчасти, с чтения текстов на чтение словарей и вообще любых списков иностранных слов? После ряда прикидок и проверок оказалось — можно.

Как известно, одной из главных причин нашего довольно медленно чтения являются регрессии — произвольные «притормаживания» глаз во время чтения на некоторых словах и даже возвращения их назад, чтобы еще раз перечитать то или иное слово или целую строку. Из-за этого процесс чтения идет как бы скачкообразно, скорость движения вперед сдерживается постоянными откатами назад. Основное средство борьбы с регрессиями — волевое ускорение темпа чтения, при котором возвратные движения глаз делаются невозможными. Но при многократном ускорении темпа чтения (бывает, что в 5-10 раз от первоначального) должна столь же интенсивно возрастать и способность к пониманию и запоминанию текста. Иначе какой смысл быстро читать? Отсюда вывод: волевое ускорение чтения неизбежно тянет за собой и ускорение работы мышления и памяти.

Приняв к сведению это обстоятельство, я решил проделать маленький опыт. Для этого взял англо-русский словарь и выписал из него 20 незнакомых мне английских слов вместе с их русским переводом. Определил и засек время, необходимое для их запоминания, — 10 минут (обычное, среднее тогда для меня время). Затем приступил к заучиванию самым традиционным способом: прочитал—повторил—проверил и так далее, то есть не используя никаких специальных приемов. Через 10 минут проверил окончательно все 20 слов. Результат оказался также привычным: 1. 5-16 слов усвоились более или менее прочно, 4-5 слов — от менее прочно до совсем не прочно.

Далее я выписал еще 20 английских слов также с переводом. Опять засек 10 минут. Но вот учить стал не в обычном «мягком» режиме, а в ускоренном «жестком». Что это значит? Очень просто: теперь я учил слова не строго «по расписанию», как в первый раз, когда я знал, что на запоминание каждого слова у меня есть примерно полминуты и потому не пытался даже хоть чуть-чуть ужать границы этого лимита. Нет, теперь я не стал привязываться к минутам, я стал исходить только из своего желания максимально быстро и прочно уложить в памяти все слова. Но при этом мне помогало не только желание. Как-то интуитивно я нащупал и подходящую к случаю систему, состоящую не в последовательном и сразу как бы окончательном - запоминании слов, а в их фрагментарно-челночном восприятии и усвоении. Алгоритм ее таков: 20 слов я разделяю на четыре блока — по пять слов в каждом — и начинаю учить слова, но не поштучно, а поблочно, и не сразу до полного заучивания, а как бы волнообразно, словно следуя естественному природному ритму прилива и отлива. Это значит, что, не доведя слово с первого раза до хорошего запоминания, а лишь внимательно прочитав его и по возможности ярко и образно представив себе его смысл, я тотчас перехожу ко второму, затем к третьему и так пролетаю-проскальзываю взглядом все пять слов. После чего челнок моего внимания быстро возвращается к первому слову, которое я теперь — и вот это очень важно — уже ведь не воспринимаю совсем заново, как в первый раз, а припоминаю уже как слегка знакомое и, концентрируясь дальше, запоминаю его получше. Потом опять второе слово и так далее. После же третьей пробежки по словам первого блока я усваиваю их уже основательно. Характерно, что на эти три или четыре (четвертая — контрольная) «блиц-пробежки» по словам первого блока уходит всего 1)5-2 минуты. Затем следует проработка еще трех блоков в таком же темп-ритме, и можно подводить итог: все 20 английских слов занесены в память достаточно надежно и к тому же <sup>He</sup> за 10 минут, а за 7-8, учитывая и последнее генеральное повторение всех слов подряд. Да, выигрыш во времени не слишком велик, однако преимущество этого приема состоит не столько в немного более ускоренном темпе запоминания, сколько в более рациональном, «маятниковом», процессе усвоения: за счет 3-4-кратного просмотра и повтора слов каждого блока они прочнее фиксируются в памяти. Ведь это происходит в соответствии с известным в психологии принципом интенсивного запоминания: лучше один раз прочитать какую-либо информацию и два раза ее повторить, чем два раза прочитать и лишь один раз повторить. Кроме того, используя этот прием, который я для себя назвал «маятником» или «мельницей», я через некоторое время получил и хороший побочный эффект: мое внимание стало более заостренным и вместе с тем гибким, пластичным, мне лучше удавалось им управлять (специально о внимании и своих приемах его усиления я расскажу ниже).

Между тем размышления над необычными интеллектуальными способностями И. И. Соллертинского подвели меня еще к некоторым усовершенствованиям в моем собственном самообучении. Наверное, наиболее удивительным тогда для меня самого стало то, что удалось немного приобщиться к, казалось бы, самой природой уже наглухо закрытому для людей моего отнюдь не юного возраста суперметоду — фоточтению\*. Разумеется, к фоточтению не в чистом виде, а в приспособленном к моим возможностям варианте, что тоже оказалось полезным. Дело в том, что у меня это было не столько фоточтение, сколько фотовоспроизведение, фотовспоминание. Ведь по указанной причине я уже не мог использовать сканирование, что в данном случае означает мгновенное считывание и запечатление в памяти целых страниц текста. Да, я не мог использовать главное преимущество метода фоточтения — фактор необычайной скорости потребления информации. Но я за ним и не гнался. Зато, понаблюдав как-то за собой, за своим процессом «вспоминания», я с удивлением заметил у себя одно бесполезное свойство, хотя и слабо выраженное. Хочу рассказать об этом немного подробнее, и не столько с целью дидактической, сколько с тем, чтобы, быть может, избавить кого-то из читателей от повторения моих самонадеянных попыток перехитрить природу и, как говорится, прыгнуть выше собственной головы.

Итак, теоретически понимая всю нереальность для себя достичь настоящей способности к фоточтению, я все-таки поддался искушению, ринувшись вперед *off one's hat* (на свой страх и риск). А произошло все это так. Когда я однажды привычным для себя образом пытался вспомнить заученный недели две тому *назад* английский текст — разматывая логику сюжета, припоминая одно слово за другим и, как водится, все чаще при этом спотыкаясь и теряя ускользающую нить смысла, — то вдруг явно почувствовал, что уже начинаю произвольно доходить почти до тихого бешенства, до какого-то тоскливого коловращения души. Возможно, причиной этого были не столько трудный для повторения текст или моя забарахлившая память, сколько просто уставшая к вечеру голова и неважное настроение. Но, очевидно, также и то, что мои лихорадочные попытки хоть как-то реанимировать свою оплошавшую память как раз и сыграли здесь не последнюю роль. Ведь именно в один из моментов того малоприятного, почти деморализованного состояния мне вдруг и увиделось нечто спасительное. Наверно, это была та соломинка, за которую в моей незавидной ситуации был резон ухватиться, что я и сделал. Соломинка предстала передо мной как видение, точнее говоря, как видение — видение локально проявляющихся, как бы выдавливающихся из страницы отдельных слов полузабытого текста. Сначала я почти не обратил внимания на непривычное для меня явление, списав его на оптический обман как результат своих расстроенных чувств. Но вот когда я прикрыл глаза, дабы немного расслабиться и спокойно поразмышлять об изъянах и парадоксах своей памяти, то, к еще большему Удивлению, я опять мысленно увидел некоторые слова того текста, причем далее немного четче и как бы в динамике. Они теперь, словно соревнуясь

друг с другом, как будто по собственной инициативе — независимо от меня самого — все активнее стремились выказаться в моем внутреннем поле зрения, при этом пытаюсь даже выстроиться в предложения.

Но, конечно, все это было не так сразу и не так гладко, как мне сейчас вспоминается. Те первые видения были зыбкие, туманные и во многих местах не поддавались опознанию. Но все же и они произвели на меня тогда немалое впечатление. Мне открылось (хотя, быть может, лишь почудилось), что тексты можно вспоминать не только «умственно», посмыслу, но также и как бы «изобразительным», «телевизионным» путем. И не только в состоянии почти нервного стресса, как это было у меня в первый раз, но и — что гораздо лучше — в нормальном состоянии душевного спокойствия и комфорта, как я и стал это практиковать впоследствии.

Итак, подметив у себя остаток этой давно угасшей или просто неразвившейся способности, я решил теперь срочно ее возродить или, точнее говоря, создать фактически заново. Я почти загорелся этой идеей, рассудив, что почему бы, собственно, и нет — *"An attempt is not torture"* («Попытка не пытка»), — почему бы и мне не добиться прогресса в этом уж очень заманчивом методе резкого повышения возможностей своей памяти. И я начал тренироваться. Проявляя настойчивость и упрямство, я две-три недели пытался только глазами, то есть почти не обращая внимания на смысл, читать тексты, как бы их «фотографируя», и затем воспроизводить, как бы «проявляя». Я заметил при этом, что если хоть немного, хоть *of one's eye* (краем глаза) попытаться мысленно увидеть слова и строки «сфотографированного» текста, то они затем и впрямь начинают словно сами по себе «видеться». Во всяком случае, мне так казалось — может быть, и потому, что уж очень хотелось этого. Был ли это самообман? Не исключено. Но факт тот, что постепенно я стал терять терпение. Ни через две, ни через три-четыре недели довольно усердных занятий я не смог отметить сколько-нибудь реального прогресса, в отличие, кстати, от моих прежних запоминательных тренировок по развитию обычной логической памяти. И наконец я понял, что это был провал. Я остановился. Горькую пилюлю надо было проглотить. «Но куда же делась моя рудиментарная способность к фоточтению, даже если и минимальная, неужели я желаемое принял за действительное? — грустно вопрошал я самого себя. — Почему же она не заработала и не усилилась, как я ожидал?» Впрочем, если честно, я ведь не очень сильно и ожидал.

Я не стал долго доискиваться до причин этой неудачи — догадывался. Да они мне и не нужны были. Я уже осознал, что метод фоточтения в его полном объеме мне, к сожалению, «не грозит», что при всей его соблазнительности это не мой путь и что в дальнейшем я в лучшем случае смогу использовать его лишь отчасти, как вспомогательное средство. Теперь же мне как воздух нужна была удача. И я не стал больше «ломать копья», а поступил, как и раньше в подобных якобы безвыходных ситуациях, — стал нащупывать приемлемый компромиссный вариант. Ведь я не хотел полностью отбрасывать этот очень эффективный и, быть может, даже для меня — несмотря ни на что — в чем-то полезный и доступный метод. Я хотел выжать из него хоть что-нибудь, памятуя народную (более того — международную) мудрость: *"A bird in the hand is worth two in the bush"* («Лучше синица в руках, чем журавль в небе»).

Стал рассуждать. Процесс фоточтения, условно говоря, состоит из двух частей: «фотографирование» текста и его «проявление». Если первое оказалось для меня «неподъемным», то, значит, надо попытаться компенсировать это за счет второго. Тем более что некоторая предрасположенность к «видению» у меня все же была. Оставалось ответить на вопрос: как можно что-то «проявить», ежели сначала этого не «сфотографировать»? Задача!

Я снова взял в руки тексты, прикидывая и так и этак. И *thank God* (слава богу), на этот раз довольно скоро выяснил, что даже если текст запоминать обычным, смысловым, путем, то воспроизводить-то его можно не только по смыслу, но и в сочетании с одновременным визуальным «подглядыванием». С этого маленького «открытия» и стал далее складываться мой комплексный подход к своей памяти.

Поначалу, пока навык еще не закрепился, приходилось с некоторым волевым усилием следовать новой тактике. Но я уже не подвергал себя особым тренировкам, а почти сразу освоил этот прием — он оказался мне по силам и даже понравился.

В чем его суть? Как я уже сказал, это не было фоточтением, это было, скорее, частичное фотовоспроизведение, а еще точнее, это был двуединый процесс логически-зрительного запоминания и воспроизведения. Я делал так. Запоминал текст, как всегда, — по сюжету, стараясь разве что чуть более внимательно приглядываться к самим словам, к их расположению в строке, к их, так сказать, молчаливому танцу на белом экране страницы. Через некоторое время я вспоминал этот текст — сначала 1-2 раза также только по сюжету, закрепляя его в памяти. Но затем, медленно вновь повторяя текст, я старался подключить к этому и свою зрительную «фотокамеру», пытаюсь одновременно и вспомнить содержание текста, и мысленно увидеть его хотя бы в очертаниях некоторых слов, строк и абзацев.

В дальнейшем этот процесс мог происходить и по-иному. В зависимости от степени «забытости» очередного текста я научился регулировать форму воспоминания, выборочно подключая то логическую память, то фотографическую. Я заметил, что если текст заучен недавно и качественно, то он хорошо вспоминается и обычным путем, по сюжету. Если же он уже «старенький», изрядно подзабытый, то одна логическая память срабатывает плохо. Зато «фотография» (точнее, «мыслеграфия») этого текста — пусть и в самом приближительном и туманном виде — держится во времени более стойко. И если при необходимости вспомнить текст, скажем, через неделю или через месяц, былую «мыслеграфию» не удастся восстановить полностью, то даже и только отдельные ее элементы, проявляющиеся на мысленном экране в виде ли слов, знаков препинания или лишь общей конфигурации текста (наличие прямой речи, красной строки и пр. ), уже будут своими «фотонамеками» неплохо способствовать и оживлению чисто логической памяти. Поэтому можно сказать, что зрительная память в данном случае становится реальным помощником и катализатором для памяти логической. И вот такое взаимопереплетение, такая взаимовыручка двух форм памяти, логической и зрительной (которые я для простоты и немного в шутку объединил под одним названием — «умозрительная память»), доказали для меня впоследствии свою эффективность, стали надежными инструментами в моих усилиях по совершенствованию собственной, от природы более чем умеренной и незавидной памяти.



Подытоживая рассказ о некоторых особенностях интеллекта И. И. Соллертинского и о тех небесполезных практических уроках, которые я извлек из них, хочу еще сказать и о другой, не менее важной, стороне медали. Талант Соллертинского зрел и процветал не только на основе данных ему от природы возможностей ума. Ведь в жизни на каждом шагу встречаются примеры, когда не только слабые и недалекие, но также и умные и очень образованные люди постепенно и незаметно скатываются в болото бездеятельности и духовной апатии, правдоподобно объясняя это как бы уважительными причинами: психической и физической усталостью, разочарованием, потерей интереса и т. д. Не причисляя себя ни к тем, ни к другим упомянутым личностям, хочу тем не менее признаться, что, увы, и в моей жизни имели место подобные настроения, хотя, слава богу, лишь изредка и ненадолго. И слава здесь, конечно, не только богу, но и тем великим и прекрасным образцам для подражания, с которых я по возможности старался хоть немного брать пример или хотя бы просто помнить и размышлять о них иногда и по-хорошему им завидовать. Кстати, такая зависть бывает весьма полезна и конструктивна — при условии, что она не совсем абстрактна, а может побудить нас хоть слегка «зашевелиться». Вот и я, позавидовав однажды Соллертинскому (так же как и Морозову и Шлиману), извлек из этого кое-что для себя интересное. Далее я расскажу и о других «объектах» своей зависти и, соответственно, о ее некоторых результатах. Да, все познается в сравнении. Конечно, сравнить себя с такими людьми — занятие не самое приятное для своего даже мало-мальского самолюбия, но зато чрезвычайно полезное. Хотя подчас так трудно бывает без душевной травмы вынести сравнение далеко не в свою пользу. Как метко и образно сказал поэт Леонид Мартынов:

*Это  
Почти неподвижности мука —  
Мчаться куда-то со скоростью звука,  
Зная прекрасно, что есть уже где-то  
Некто,  
Летающий  
Со скоростью  
Света!*

Как раз такие люди, как Соллертинский, летели и летят по жизни со скоростью света. А свет, как известно из физики, не может существовать в состоянии покоя — только в движении. Так и они. Свет — свет творчества и познания — является и главным источником энергии, и главной целью всей их жизни. Они при этом и сами как бы светятся изнутри.

Соллертинский с детства отличался неумной жадной к самосозданию. Он постоянно что-то изучал: языки, историю, литературу, музыку, театр, психологию... И везде достигал уровня как минимум профессорских познаний. Но самое поразительное (и для меня просто необъяснимое — когда я впервые об этом узнал) было то, что при такой-то сверхнасыщенной жизни он никогда не испытывал усталости, хотя здоровье имел слабое а физической выносливостью совсем не отличался. Потом я понял секрет и причину его неистощимой духовной и интеллектуальной работоспособности: он непрерывно подзаряжался от самого искрометного процесса творческого познания. Один его современник вспоминал, как Соллертинский, смущаясь, сказал однажды: «Я не знаю, что такое усталость, и не очень верю в нее».

Характерно, что такие люди — сегодня их называют трудоголиками — словно запрограммированы от рождения на неустанную деятельность, которая не только приносит им гигантскую духовную радость и наслаждение, не только способствует их блестящему профессиональному росту, не только нейтрализует какие-то их бытовые проблемы и неудобства, но которая еще и лучше всякой медицины спасает их от столь популярной в наше время депрессии и многих других недугов, а подчас даже и от физической гибели (вспомним того же Н. Морозова).

Кстати, и Соллертинский, будучи однажды тяжело больным и из-за этого на несколько месяцев прикованным к постели, даже в такой драматический период своей жизни не отказался от интенсивного процесса познания: он изучил за это время считающийся очень трудным венгерский язык. Причем ведь как это происходило! Поскольку сам он не мог даже руками пошевелить, перед ним на пюпитр ставили словари и по его знаку переворачивали страницы. Вот уж действительно — в состоянии покоя свет существовать не может!

Итак, это все также стало для меня неплохим уроком, уроком Ивана Ивановича Соллертинского, уроком уже не столько по технике изучения иностранного языка или самообучения вообще, сколько уроком по «технике» самой жизни, по технике насыщения ее познанием и дерзанием или, я бы даже сказал, дерзким познанием.

Довольно долго меня занимал еще один, в чем-то парадоксальный и как будто неразрешимый вопрос. Не скажу, что впоследствии я решил его однозначно и абсолютно научно (ведь и сама психология по природе своей наука далеко не однозначная, она, как и человек, постоянно развивается), но меня мое решение удовлетворило, поскольку оно практически примирило две почти взаимоисключающих точки зрения и тем самым вывело меня на более высокий уровень использования возможностей памяти.

Последние годы психологи, педагоги много говорят и спорят об образной или эйдетической памяти. Выше я уже упоминал о ней, теперь же хочу сказать об этом чуть подробнее, чтобы подойти непосредственно к заинтересовавшему меня парадоксу.

Считается, что образная память — это память, основанная на восприятии информации с помощью образов, то есть мысленных картин. Считается также, что образы рождаются и запечатлеваются тем лучше, чем больше чувств (желательно — глубоких чувств) они у нас «высекают». Процесс этот обоюдный и взаимоусиливающийся: мы подключаем к восприятию свои чувства, которые порождают образы, образы же, в свою очередь, затем усиливают и надолго сохраняют как бы в «образно законсервированном» виде эти самые

чувства. В результате мы и получаем хорошее и довольно прочное запоминание. Как это изящно подметил еще К. Н. Батюшков:

*О память сердца!  
Ты сильнее Рассудка памяти печальной  
И часто сладостью своей  
Меня в стране пленяешь дальной.*

Да, все это так и вопросов пока не вызывает. Но вот некоторые современные психологи идут дальше. Они утверждают, что образная память не требует вовсе никакого повторения запоминаемого материала. Более того, они считают, что всякое повторение только вредит образному восприятию, что оно разрушает образ, поскольку каждый образ — это очень хрупкое дитя одноразового и почти мгновенного впечатления. И отсюда уже становится ясно, что образная память и память «нормальная», логическая, с ее первейшим принципом «Повторение — мать учения», противоречат друг другу, если вообще полностью не отрицают и не отменяют друг друга. И вот эта-то их якобы безысходная непримиримость и смутила меня однажды, побудила искать решение или хотя бы какое-то вразумительное объяснение этого противоречия.

«Но, может быть, и не надо их примирять, — скажет читатель, — пусть себе существуют порознь, каждая по своим законам и правилам. Будем каждую из них использовать себе на благо в их чистом виде — в зависимости от обстоятельств, то есть от той конкретной информации, которую нам требуется запомнить в данный момент и в данных условиях».

Да, я тоже думал тогда примерно так же. И готов был уже совсем оставить в покое этот вопрос, но все же какие-то его неестественность и незавершенность продолжали провоцировать и обострять мои и без того не дремлющие *a nagging doubt* (муки сомнения). Но чтобы не утомлять читателя своими душевными мытарствами по этому поводу, перейду к сути вопроса.

Когда я более внимательно рассмотрел и сравнил оба способа усвоения информации — образный и логический, то заметил между ними гораздо больше общего, чем представлялось поначалу. Действительно, рождение в нашем сознании образов или восприятие их из внешнего мира, а также образное мышление происходят не обязательно мгновенно, в считанные секунды. Эти процессы часто бывают растянуты во времени. Отсюда вопрос: нельзя ли как-либо совместить образное запоминание с логическим, причем так, чтобы эффект одноразового рождения и «впитывания» образа не был бы поврежден или вовсе уничтожен при логической обработке этого образа и, особенно, при его «заучивании» и, значит, повторении (вспомним позицию психологов-эйдетики: «Повторение разрушает образ»)? Забегая чуть вперед, скажу, что такое «совмещение» не только можно искусственно производить, но что оно и так всегда фактически существовало внутри самого процесса восприятия образа, хотя и в хорошо замаскированном состоянии. И на эту мысль меня навели размышления опять-таки о деятелях искусства — художниках и музыкантах, так как именно у них лучше всего развито образное восприятие. Так, американский психолог Вильям Ат-кинсон писал в своей книге:

«Говорят, что какой-то знаменитый художник при первом сеансе просто смотрел с час времени на оригинал, а потом отпускал его, говоря, что ему возвращаться уже не надо. Затем он месяцами писал портрет без всяких сеансов, временами лишь смотря на пустой стул, где раньше сидел оригинал, и перенося его черты на полотно. Он говорил, что в действительности видел оригинал на стуле, вероятно, впечатление глубоко врезалось в его память. Понятно, что это пример исключительный, но и другие художники развивали в себе те же способности, хотя и не в такой удивительной степени»\*.

Так чем же занимался целый час описанный Аткинсоном художник? Ясно, что он более чем тщательно запечатлевал внешность сидящего перед ним человека. Но как? Возможно, прохаживаясь при этом по комнате, он прикрывал на миг глаза, пытаясь про себя увидеть, восстановить облик человека, затем опять смотрел на него пристально, чтобы сравнить свое впечатление с оригиналом. Может, он и просто целый час неотрывно смотрел на «объект». Но главное здесь то, что «впитывание» образа происходило у этого художника достаточно продолжительное время (час), в течение которого шло именно подробнейшее запоминание, а не мгновенное «схватывание» образа и молниеносное вживание в него, что так превозносят сторонники чистого эйдетики. Но столь длительное и, как мы знаем, очень качественное запоминание не могло происходить лишь за счет простого наблюдения-смотрения, то есть абсолютно без анализа, без логической обработки образа, без «обратной связи» — без повторения, хотя бы без микроповторения. И вот здесь-то, я думаю, *da liegt der Hund begraben* (собака и зарыта — нем.). Ведь повторение необязательно может идти вслух или про себя в отчетливо осознаваемой нами форме. Оно зачастую успешно происходит (особенно при интенсивной интеллектуальной работе) за порогом нашего самоконтроля. Оно скрытно присутствует даже в нейтральном созерцании, не говоря уже о целенаправленном наблюдении. Этими в большинстве своем нерегистрируемыми сознанием микроповторами и высланы, фигурально выражаясь, все — даже самые захолустные — тропинки нашей памяти.

И в самом деле, стоит нам получше присмотреться к собственному процессу восприятия любой информации, как мы обязательно подметим многократные микроповторы. Вот, к примеру, мы разглядываем известную картину П. Федотова «Завтрак аристократа». На картине много мелких деталей. Наш взгляд, последовательно обращаясь к ним, переходит с одной детали на другую, но при этом удерживая и с каждым мгновением все лучше фиксируя в памяти благодаря как раз неосознаваемым микроповторам и те детали, что он уже «ощупал». Осматривая, скажем, предметы на столе, на полу, мы тут же где-то на краю сознания сопоставляем их роскошное качество с богатыми одеждами главного героя, а исследуя взором весь живописно-вальяжный беспорядок комнаты и опять-таки неосознанно «прокручивая», повторяя его, мы параллельно держим в уме и всю картину в целом, с улыбкой воспринимая забавную пикантность изображенной художником сценки. Но одновременно мы задействуем (если хотим и умеем) и нашу образность, вследствие чего и общее сиюминутное впечатление от

картины, и ее запоминание только выигрывают и улучшаются: мы слышим тьяканье собачонки и, может быть, мягкие шаги и голос из-за портьеры, мы немного входим даже в образ самого героя — ощущаем на себе приятную атласную одежду, под ногами — мягкий ковер, а за щекой — вкус хлеба, и, конечно, мы сами будто переживаем его испуг и смущение.

Таким образом, обе формы восприятия действуют «в одной упряжке»: логика, анализ с помощью микроповторов — с одной стороны, образность с помощью эмоций — с другой. И чем сильнее обе они срабатывают, тем более глубокое впечатление и запоминание мы получаем.

Хочу привести еще любопытный пример на эту тему. В одной из книг о нашем великом пианисте Святославе Теофиловиче Рихтере\* меня поразили ряд фактов, связанных с его необыкновенной силой образно-логического восприятия искусства. Как известно, Рихтер был не только гениальным музыкантом, но и хорошим художником. О его сверхсерьезном, каком-то, я бы сказал, скрупулезно-«хирургическом» отношении к искусству, в частности к живописи, свидетельствует хотя бы следующий небольшой эпизод из указанной книги. Речь в книге идет о гастрольной поездке Рихтера через всю Россию. Характерно, что, остановившись в очередном городе, он всегда первым делом посещал местный художественный музей. Но вот как он осматривал экспозицию музея — послушаем автора книги:

«Медленно направились в Художественный музей. Рихтер заранее предупредил, что будет смотреть не более пяти картин. Немного прошли по центральной улице старого Иркутска — красивой, европейской, похожей на Невский проспект.

Вошли в Художественный музей. Сначала Святослава Теофиловича привлек огромный портрет Павла I. Он долго изучал его, а мы за это время, конечно, обежали весь зал, торопясь увидеть как можно больше.

Больше всех картин Святославу Теофиловичу понравился портрет наследника Александра Павловича кисти Рокотова. От него не мог оторваться. Петров-Водкин, Малявин, Бурлюк — по одной картине — и всё!

Пережив встречи с этими картинами, Святослав Теофилович часто вспоминал ту или другую из них».

Итак, всего пять картин из немалой, очевидно, экспозиции крупного городского музея. Казалось бы, Рихтер где-то обкрадывал себя, свою душу. На самом деле — наоборот. Он не суетился (вспомним пушкинское: «Служенье муз не терпит суеты»), он предпочитал по-настоящему «погружаться» в одно хорошее произведение искусства, чем бегло и бесстрастно просматривать десятки других. Что же он делал, подолгу глядя на прекрасные полотна? Не вторгаясь в интимный процесс столь глубокого общения с искусством, можно все-таки предположить, что в эти минуты и даже часы он не только получал эмоционально-образное впечатление, но и, как пишет автор книги, «изучал» картину-А это значит — он размышлял, вникал, что-то с чем-то сопоставлял, он исследовал сюжет деталь за деталью, возможно, вспоминая что-то, ассоциативно сравнивая это с собственным жизненным опытом и т. д. Однако для нас главное в данном случае то, что все это не могло не делаться с периодическими микроповторами, явными и неявными. Картина вновь и вновь отражалась и повторялась в его сознании, «отрабатывалась», репетировалась (*repetitio* — повторение, лат.). Кстати, также тщательно он репетировал и музыкальные произведения. Сверхглубокое вхождение в «объект» позволяло Рихтеру наиточнейшим образом передавать суть музыкальных идей и весь колорит произведения, не внося при этом в него ничего лишнего, субъективного. Это драгоценное качество его музы как раз и достигалось путем очень разумно сбалансированного сочетания «алгебры и гармонии» восприятия, путем взаимовыручки и творческого «симбиоза» хорошей логики и яркой образности. Что, между прочим, также благоприятно отражалось и на запоминании «объектов».

И вот на основании этих и подобных фактов я и пришел к искомому ответу: образ и логика в нашем сознании должны не отрицать друг друга, а дополнять и усиливать. А повторение, происходящее даже при якобы исключительно образном восприятии, уж никак не зло, а только благо и душа этого восприятия. Повтор — это осмысление, и, значит, каждый новый повтор приносит немного нового смысла. Но все дело в том, чтобы научиться повторять... не повторяясь. Впрочем, это несложно. Ведь каждый повтор, если это, конечно, не откровенная зубрежка, всегда имеет возможность хоть чуть-чуть, но отличаться от предыдущего. И наша задача — границы этого «чуть-чуть» расширить до максимально возможного разнообразия.

Осознав важность творческого повтора, я стал теперь стараться каждый новый повтор какой-либо информации организовывать немного иначе, чем в прошлый раз, даже если этот «прошлый раз» имел место всего одну минуту назад. Я пытался теперь с каждым новым повтором и формально повернуть к себе Материал другой гранью и одновременно по смыслу как-то преобразовать его, представить в другом освещении — путем ли дополнений, вариаций и пр. К примеру, иностранные слова в своих словарях-блокнотах я стал теперь повторять не как раньше — с усыпляющим однообразием: слева-направо, сверху-вниз, страница за страницей и затем вновь по тому же маршруту. Теперь я «изощрялся» самым, на первый взгляд, странным образом: то повторял слова сверху-вниз, то снизу-вверх («сзади-наперед»), то взглядом выхватывал их из середины страницы, то лишь сверху или снизу. То смотрел только на иностранные слова, пытаюсь вспомнить их перевод на русском, то, наоборот, «наблюдал» прилежно только русские слова, вспоминая их иностранные значения. И так далее — вариантов здесь, как видим, немало.

Еще один немаловажный смысл всего этого состоит в том, чтобы не дать себе пресытиться, чтобы не привыкнуть к однообразию, поскольку однообразие при повторении ведет только к мучительному торможению, увяданию, а иногда и к медленной смерти самого процесса познания. Разнообразие же, даже такое — скорее, по форме, чем по существу, — это уже почти развлечение. А развлечение при обучении, тем паче — при само^ обучении — это бальзам-эликсир, это живительный источник для временами смятенной души нашего брата «рейнджера-самоучки» (читай: «охотника за знаниями»).

Повтор может быть подробным и развернутым — на первой стадии усвоения, а может быть сжатым и одномоментным, прострельно-кинжальным, точечно-телеграфным, — когда необходимо быстро восстановить в памяти большой пласт материала. Такой повтор я назвал для себя «повтор-намек». Я почти случайно обнаружил его, точнее, осознал и принял его как эффективный способ беглого, но довольно качественного

повторения-вспоминания. С тех пор я периодически успешно практикую этот прием, а именно в тех случаях, когда, например, пользуясь одним иностранным языком, я вынужден временно отложить другой. Так, изучая немецкий, я на несколько месяцев почти полностью отодвинул в сторону английский. Чтобы в итоге не окатиться у «разбитого английского корыта», я и применял прием «повтора-намека», в результате чего мои потери в английском за 8—10 месяцев оказались минимальными. Но этот прием может хорошо выручать и того, кто владеет только одним языком (или изучает его) и желает всегда поддерживать свои познания на необходимом уровне.

Из чего же я исхожу? Как известно, даже очень хорошо усвоенная когда-то информация со временем покрывается в нашей памяти все более толстым слоем пыли — если, разумеется, эту «пыль» систематически не «сдувать». Традиционно считается, что хорошо очистить информацию от «пыли» можно лишь путем основательной и скучноватой процедуры — подробного и тщательного повторения всей этой информации. И наверно, во многих случаях так и следует поступать. Но вот очередное, как говорится плановое, повторение иноязычной лексики, когда-то ранее уже неплохо заученной, на мой взгляд, не требует особой упорядоченности, так как излишние притязания к *своей* памяти в этом случае будут больше вредить процессу повторения, чем помогать, хотя бы потому, что будут тормозить его. А ведь именно скорость при этом решает успех всей операции, т. к. помогает устранить главных врагов — скуку, рассеянность, однообразие.

Конкретно я поступаю так. Два раза в год (для меня это стало уже почти ритуалом) — 31 декабря и в один из дней в июле-августе — я с утра собираю со всех полок и ящиков все свои блокноты-словарики с иностранными словами, заученными два-три или пять лет назад, и основательно устраиваюсь в самом относительно спокойном и хорошо освещенном уголке квартиры. Предварительно наказываю всем домашним часа на Четыре-пять начисто забыть о моем существовании. Особенно я люблю «уходить в себя», то есть погружаться в свои лингвистические воспоминания, в последний день уходящего года — наверно, по причине некой символичности такой процедуры именно в этот день. Да и вообще как-то по-особому приятно в этот день ощущать себя хоть на несколько часов отрешенным от всеобщей суеты и легкомысленной, хотя и радостной озабоченности (разумеется, домашними обязанностями в этот день<sup>а</sup> тем не менее не пренебрегаю, стараясь справиться с ними Просто более живо — или до своей «мемориально-лексической» операции или после нее).

Итак, окружив себя своими преданными друзьями — блокнотами-словарями собственного рукописного изготовления, — я приступаю к процедуре достаточно глубоководного, но в то же время и весьма скоростного погружения в места уже немного поблекший мир своей лексической памяти. Этот прием в чем-то напоминает описанное выше «блочное» заучивание новых слов, но с той разницей, что он идет в несравненно более скользко-скоростном режиме. Открыв один из блокнотов-словарей (а у меня их около десятка как для английского, так и для немецкого языка) — при этом я обычно начинаю с самых «древних» блокнотов, содержащих слова, заученные несколько лет назад, переходя последовательно ко все более «молодым», — итак, открыв один из них, я обрабатываю каждую его страницу беглым, но максимально «плотным» взглядом. Если, к примеру, на одной странице записано в среднем 10 иностранных слов с переводом, то расклад получается следующий: все 10 слов взгляд «простреливает» за 10-12 секунд, в течение которых заодно выясняются и наиболее трудные, то есть более других подзабытые слова. Как правило, таковых бывает от одного до трех-четырех на страницу. На них теперь и направляются все усилия памяти, что занимает еще примерно 8-10 секунд. И все — страница готова. 20 секунд — больше не надо! — и все 10 иностранных слов вытащены из глубин памяти на ее поверхность. Когда я через несколько минут вхожу в жесткий ритм такого спринта (на марафонской, правда, дистанции), то моя память — пусть и лишь на некоторое и не очень продолжительное время и как бы вынужденно — явно и очевидно обостряется, восприятие информации (лексики) набирает более высокие обороты, чем обычно. Сотни и тысячи слов впиваются в память, точнее, воскресают, оживают в ней за считанные минуты и часы. «Супервоспоминание» идет уже почти без напряжения, вызывая, скорее, удовольствие — как от завораживающе-стремительной техники самого процесса, так и от сознания своего все возрастающего могущества над бесконечными рядами и столбцами этих маленьких зерен смысла — существительных, прилагательных, глаголов.

Простой подсчет показывает, что всего за четыре-пять часов столь интенсивного «погружения» мне удается неплохо восстановить в памяти порядка 7-8 тысяч иностранных слов. Причем тех слов, которые я редко встречаю при повседневном чтении обычных иностранных текстов (почему эти слова и забываются почем зря). Понятно, что — наоборот — часто используемые слова (а их тоже немало) и так неплохо держатся в голове и потому специального повторения не требуют.

Обычно в конце всего экспресс-повтора я делаю небольшую выборочную проверку его качества: открываю наугад блокноты и по любым отдельным словам вполне объективно контролирую степень «реставрации» своих познаний. В среднем из 10 слов удается правильно вспомнить перевод — прямой или обратный — у девяти, что вовсе недурно для столь реактивного темпа повтора. Ведь я и называю его «повтор-намеком», так как при такой скорости получаю скорее намек на смысл слов, чем их гарантированно-затверженные значения. Но и этих зерен-намеков, если они ложатся на более или менее подготовленную языковую почву, вполне хватает, чтобы получить приличный лексический «урожай» (эффект здесь получается действительно неплохой, ведь до повторения — и это я тоже проверял по тем же блокнотам — удавалось извлечь из памяти правильный перевод лишь 5-6 слов из 10).

При этом если 31 декабря я «сдуваю пыль» со своей английской лексики, то в один из хороших летних дней, выбравшись вместе со словарями в сумке куда-нибудь в тенистый загородный парк или даже на один из излюбленных мной уединенных пляжей Финского залива. — не роскошных, но где-то уютных и по-северному неброско-живописных, — я, совмещая полезное с приятным, «с ветерком» проделываю такую же инвентаризацию и своей основной, слегка «подзапылившейся» немецкой лексики.

Конечно, я мог бы помедленнее повторять слова, растянув этот процесс дня на 3-4 или на неделю, и результат тогда был бы, наверно, еще лучше. Но, не будучи очень рьяным любителем вообще всяческих повторений, я

всегда без особого энтузиазма относился к весьма — как мне казалось — угнетающе-монотонному процессу любого вынужденного вспоминания. Поэтому везде, где только было возможно, я пытался спрямлять пуд, к знанию, избегая лингвистического пресыщения, даже если и за счет некоторой потери качества. Но вот что интересно: со временем я стал замечать, что даже самое традиционное и, казалось бы, скучнейшее повторение иностранных слов становится для меня уже и не столь обременительным занятием. Почти на каждой странице своих словариков я теперь либо нахожу что-то новое (например, выясняется другое, ранее неизвестное мне значение слова, или какой-то иной нюанс смысла, или еще что-то ранее неподмеченное), либо просто получаю удовольствие от «перевспоминания» всей этой разноликой и своенравной «компании». Ведь я отдаю себе отчет, что вся эта лексика — мой немалыми трудами приобретенный интеллектуальный капитал, моя духовная «валюта». А валюта, как известно, не должна залеживаться и обесцениваться. Она должна работать — для ума и для души. Поэтому повторение я рассматриваю теперь не только как обычное средство для еще лучшего заучивания слов (или текстов — о чем ниже), а как своеобразное приключение ума, как скоростное движение по лабиринтам памяти или, проще говоря, как очередное и желанное возвращение к давно и навечно полюбившейся информации. Ведь, к примеру сказать, мы приходим в музей не для того, чтобы еще раз повторить перечни картин тех или иных художников, а с целью вновь насладиться роскошью искусства, получить для души кусочек чистой радости. Если же от высоких материй перейти к бытовому сравнению, то я бы сказал, что даже и порыться иногда в шкафу среди своих полузабытых, но любимых по старой памяти вещей бывает не только полезно и интересно, но как-то приятно и немного забавно. Хотя и с привкусом *nostalgic*. Но тут уж ничего не поделаешь, этот горько-сладкий привкус сопровождает любое наше повторение-вспоминание — слов ли, вещей ли, или своего детства, или первой любви. Не правда ли?

Вот так, распутывая клубок вопросов, связанных с памятью, когда уверенно, а когда и на ощупь, я продвигался постепенно к цели, кочуя *from pillar to post* (от одной трудности к другой) и все-таки определяя наилучшие для себя приемы запоминания. Часто за очередным, как будто разрешенным, противоречием откуда ни возмись возникало еще одно, свеженькое. Были среди них и, что называется, вечные проблемы, которые, даже будучи уже в какой-то степени проясненными, все равно как бы по инерции постоянно занимали меня. Я думаю, это происходило в силу их обманчивой простоты, а значит, и какой-то дразнящей недосказанности, ускользающей от понимания двусмысленности.

### **Как я покончил со своей невнимательностью и научился быть предельно сосредоточенным на конкретной информации**

Одной из таких коварных и почти совсем не поддающихся совершенствованию проблем для меня всегда было внимание. Сколько себя помню, мне всегда было непросто удерживать свое **внимание** на каком-то объекте — например, на изучаемом предмете — необходимое время и с необходимой силой концентрации. Компенсировать это в какой-то мере удавалось лишь за счет некоторой логики и образности мышления. Я понимал, что не один страдаю от тотальной невнимательности и рассеянности, что эта незавидная и даже губительная особенность ума и всей природы присуща огромному большинству людей.

И вот, пытаюсь разобраться в причинах усиления внимания или его ослабления, я стал исподволь наблюдать за окружающими. Эти наблюдения кое-что мне открыли. Поначалу я был просто поражен рассеянностью многих людей как в быту, так и на службе. Постепенно у меня сложилось впечатление, что внимание человека зависит не только от его интеллектуальных способностей, но в изрядной степени и от всего остального: от его физического и психического состояния, от склада его характера и волевых качеств, от степени его заинтересованности в объекте внимания и от других условий. Но поскольку почти все эти условия очень индивидуальны, то и мои раздумья на эту тему не давали пока однозначного ответа на вопрос: как же можно научиться без особого напряжения и независимо от всяких обстоятельств регулировать свое внимание, делать его четко сфокусированным и достаточно долго не ослабевающим? Где найти этот чудесный механизм простого и безусловного управления вниманием — если таковой вообще существует? Да, это был вопрос вопросов — от него зависело слишком много!

Между тем я делал довольно упрямые попытки бороться со своей невнимательностью — и волевым путем, и с помощью тренировок. Но борьба эта была какая-то роковая и, очевидно, безнадежная. Она не могла закончиться в мою пользу — ведь я применял сугубо традиционные способы развития внимания, которые, как и в случае с памятью и по тем же причинам, ощутимого результата не приносили. В итоге я опять начал было впадать в уныние. Но на этот раз кризис удалось преодолеть быстрее. Наученный прежним своим опытом, я и здесь решил от схоластических, не связанных с реальной жизнью тренировок перейти к практике. Но вот с какого конца подступать — вопрос был не праздный. Я понимал, что в такой тонкой и уже давно и насквозь изученной проблеме, как внимание, надо искать какие-то нетривиальные решения, надо, быть может, и подходить-то к ней с другого, противоположного здравому смыслу конца. Мне вспомнилось тогда и в чем-то приобдрило одно из моих любимых изречений Гельвеция: «Ум начинается там, где кончается здравый смысл». Ну, ум не ум, рассудил я, но надо же найти какое-то приемлемое для такого «человека рассеянного», как я, решение, чтобы с помощью вполне доступных приемов — без скучнейшей и не очень-то эффективной тренировки — иметь возможность произвольно и даже почти автоматически усиливать свое внимание, хотя бы в течение ограниченных отрезков времени, необходимых для качественного внедрения в изучаемый материал. Ведь слишком дорого обходится мне невнимательность, что особенно заметно при изучении иностранного языка: усилий тратится много, а отдача оставляет желать... Кому же приятно *to plough the sand* (носить воду решетом) ?

Итак, ключевые слова и здесь были произнесены: к проблеме надо попробовать подойти с «противоположного конца», попытаться в чем-то нарушить традицию, проигнорировать общепринятую точку зрения. А она сводится, как нам всем еще с детско-школьных лет хорошо известно, к неизменным призывам педагогов и

родителей сосредоточивать в данный момент все внимание только на каком-либо одном предмете или занятии — считается, что они от этого только выиграют. Иными словами, непрерывное преследование лишь одной цели только якобы и может привести к достижению этой цели. И надо признать, что этот совет бесконечно мудр и хорош во всем, кроме одного: он подходит лишь *для тех, для кого* и так не представляет сложности управлять своим от природы цепким и устойчивым вниманием, собирать его, когда требуется, в кулак и успешно решать свои проблемы. Но что же делать всем остальным, *для кого* этот совет — лишь благое пожелание, так как на деле их внимание уже вскоре после приложения к «объекту» начинает исподволь и незаметно «раскачиваться» и уплывать куда-то в сторону, уступая место посторонним мыслям, мечтам каким-то, а иногда и полной рассеянности — и отнюдь не профессорской? Так что же им (и мне в том числе) делать? На этом месте своих размышлений я, как это уже случалось в подобных «неразрешимых» ситуациях, надолго задумывался. Изобретать квадратное колесо или тем более вечный двигатель не хотелось, да и, что называется, было *too much to swallow* (не по зубам).

И тогда я вновь решил обратиться за поддержкой и советом к людям талантливым и преуспевшим в творческом процессе — к корифеям литературы и искусства. Впрочем, где-то на периферии сознания у меня уже вырисовывалась одна смутная догадка, и я хотел теперь ее прояснить и обосновать, опираясь на успешный опыт мастеров. Прочитав и просмотрев описания жизни и творчества некоторых писателей, художников и композиторов, а также выдающихся шахматистов, я смог наконец подытожить: да, на этот раз я все-таки на правильном пути.

И действительно, я нашел целый ряд конкретных подтверждений того, что многие творческие деятели работали над своими произведениями не на одном дыхании, то есть не последовательно и неотрывно от начала до конца, а, напротив, творили их не очень ритмично и даже параллельно и попеременно с другими произведениями. Кто-то это делал по необходимости, а кто-то — намеренно. Но, судя по всему, такое «разделение труда» было для них благотворно, т. к. способствовало, вероятно, некоторой духовной подпитке творческого процесса. И подобный стиль работы имел место не только у ряда ученых, писателей или художников (Вольтер, Ч. Дарвин, Б. Вернадский, М. Твен, И. Репин и др. ), но даже и у крупнейших представителей самого интимного и нежного искусства — музыки, где такие «переключки», казалось бы, могут только навредить. Однако Бетховен писал иногда по три-четыре вещи сразу, Чайковский одновременно создавал «Щелкунчика» и «Иоланту», Римский-Корсаков — «Садко» и «Ночь перед Рождеством», Мусоргский — «Хованщину» и «Сорочинскую ярмарку». Аналогично поступают и современные авторы. Так почему бы, рассудил я, и мне, простому смертному, не перенять у великих хотя бы этот чисто внешний, технический, но, очевидно, небесполезный прием интеллектуальной работы? Может быть, поможет в чем-то, например при изучении тех же языков?

«Но, — скажет читатель, — ведь все мы и так гораздо больше страдаем от излишних перескоков внимания с объекта на объект, чем от его устойчивости на чем-то одном». И с этим нельзя не согласиться — что верно, то верно. Французский психолог Т. Рибо считал даже, что внимание — это состояние исключительное и ненормальное, так как оно находится в противоречии с первейшим фактором психики человека — изменяемостью. Иными словами, можно сказать, что для человека более естественным и нормальным является, к сожалению, состояние невнимания. И вот здесь-то мы, очевидно, и подходим вплотную к той границе данного вопроса, где вроде бы непреодолимым препятствием застыло противоречие между субъективным желанием быть очень внимательным и объективной трудностью этого достичь, к той границе здравого смысла, которую на первый взгляд как бы и нельзя преодолеть, но которую, как ни странно, все-таки можно неким образом... перепрыгнуть, перейдя в «другое измерение», и другую, что ли, логику этого вопроса. Каким же образом? А если попробовать не насиловать наши способности к сосредоточению на одном объекте, а поставить себе на службу именно склонность психики к изменяемости — не преодолевать ее героически, тратя понапрасну энергию ума и нервов, а заставить ее работать на нас: создать, пусть и искусственно, постоянную динамику внимания путем его перемещения с одного объекта на другой, третий — и так по кругу и непрерывно. Иначе говоря, слабо и с трудом управляемый процесс концентрации внимания попытаться ввести в конкретные и жесткие рамки, внутри которых регулировать его будет уже проще, да и само внимание станет от этого более насыщенным и как бы упругим. Тем самым недостаток нашего внимания — его склонность к неконтролируемым переключениям — едва ли не автоматически превращается в его достоинство — в контролируемость и управляемость. При этом отсюда может даже последовать довольно парадоксальный вывод: чем чаще будут происходить переключения внимания, тем глубже и сильнее оно будет погружаться в каждый из объектов — подобно тому, как человек, передвигающийся по песку быстрыми и резкими прыжками, оставляет в нем более глубокие следы, нежели тот, кто идет спокойно и равномерно.

Проделав такое «теоретическое обоснование», я, однако, не сразу сообразил, как практически реализовать эту идею. Но и здесь мне — в который уже раз (и еще *five* в последний)! — вновь помогло искусство, точнее, искусство шахматных баталий. Будучи поклонником древней игры, хотя и на самом скромно-домашнем уровне, я всегда с восхищением относился к большим мастерам, проводящим сеансы одновременной игры, пытался и сам играть сразу против двух-трех соперников-партнеров. При этом я замечал, что важнейшую роль в таких партиях играет концентрация внимания. И как раз необходимость мгновенного переключения внимания с одной партии на другую заставляет игрока (или, во всяком случае, способствует этому) постоянно находиться на пике своих интеллектуальных возможностей, использовать, возможно, и какие-то дополнительные ресурсы — Интуицию, эйдетическую память и др. Я понимал также, что <sup>3</sup>Здесь должна соблюдаться некая мера, чтобы преимущество этого приема не превратилось в его противоположность. Но как мне было найти эту меру применительно к моему замыслу — в переключениях внимания на чисто книжном материале? Скорее всего ответ можно было получить лишь опытным путем, на что я и направил теперь свои усилия.

Особо не мудрствуя, положил перед собой три «объекта» — две книги на английском и один журнал с несложными текстами. Стал давать себе разное время для чтения: сначала по 15 минут на каждый «объект», затем — по 10 минут, по 5 минут и даже по 1-2 минуте. Но вскоре определил наилучший для себя

«ритморегламент»: теперь я уже четко стал каждые 3-4 минуты менять «объект», то есть с одной книги переключаться на другую, на третью и вновь возвращаться к первой. Что же я получил в результате от такой «круговерти», от приема, который позже назвал для себя «кузнечиком» или «свингом»? Что он мне принес, особенно спустя некоторое время, когда я стал применять его все чаще и с каждым разом все более охотно и виртуозно, поскольку он действительно мне очень понравился? А получил я, как минимум, двойной эффект, двойную пользу.

Во-первых, мое внимание и на самом деле перестало быть неконтролируемым, перестало «уплывать» — ведь я знал теперь, что на одном тексте мне можно «застрять» не более чем на 3-4 минуты, и потому, естественно, хотелось за это время успеть прочитать побольше. Впрочем, слово «хотелось» здесь не совсем уместно — даже если и не очень хотелось, то все равно я понимал, что за эти считанные минуты мне необходимо «обработать», то есть прочитать, как можно больше текста (в ином случае сам этот прием просто терял смысл), и притом «обработать» достаточно качественно, то есть чтобы все понять и по возможности запомнить. Но к этому, в свою очередь, вел только один путь: надо было максимально сконцентрировать свое внимание на данном тексте. Таким образом, цель достигалась не напрямую — через чисто волевое усилие, что, как уже отмечалось, далеко не у всех хорошо получается в реальной жизни, — а как бы косвенно, опосредованно — через несложный прием, делающий усилия воли словно вынужденно-автоматическими, не связанными непосредственно с собственно волевыми качествами человека, а зависящими почти исключительно от условий самой «игры».

Во-вторых, этот прием помог мне преодолеть монотонность чтения, ежеминутно подогревая интерес сразу к нескольким текстам. Я теперь эксплуатировал, я *заставлял* работать на себя извечное человеческое качество — постоянную тягу к чему-то новому, к разнообразию, пусть и в такой необычной, причудливой форме. Уже сам по себе этот прием стал для меня стимулятором для продолжительного и почти ненасытного чтения. Поясню.

Раньше, читая, как обычно, только один текст на иностранном языке, я уже к 15-20-й минуте (если вообще добирался до них) начинал испытывать признаки психического утомления, а подчас и — что вовсе скверно — скуки и пресыщения. Особенно явно это давало о себе знать на первой стадии изучения языка, когда чтение еще шло с превеликим трудом, а потому и интерес к сюжету, не успев разгореться, норовил уже и затухнуть, оставляя после себя серую дымку обескураженности и досады. Теперь же, применяя свою маленькую «военную хитрость», я не доводил себя до естественного утомления на каждом из текстов. Более того, прочитав за 3—5 минут (плюс-минус 1-2 минуты здесь значения не имеют) полстраницы или одну страницу иноязычного текста и только-только почувствовав некоторое увлечение сюжетом, я, прерываясь, переходил к следующему тексту, с которым затем поступал точно так же. И когда вот так, по кругу, Через третий, а иногда и через четвертый текст я возвращался опять к первому, тут-то и проявлялся весь эффект: ведь если - первый текст я оставил почти **с сожалением**, то значит, и возврат к нему теперь был **желанным**, как затем и ко второму, и к третьему.

Колесо завращалось — колесо любопытства и интереса, колесо — святое дело — энтузиазма.

Этот прием немного позже помог мне также осознать прелесть и пользу параллельного чтения нескольких текстов, то есть Чтения уже не в жестком, «конвейерном» режиме, а в свободном, по настроению. Я стал теперь находить помимо чисто практического смысла какую-то развлекательность, если не сказать Очарование, в том, чтобы читать (или хотя бы просматривать, но «со вкусом») утром одну книгу на иностранном языке, днем — другую, вечером — третью. Старался только, чтобы книги были разные по жанрам: исторические, приключенческие, детективные. И что интересно: «каши» в голове никогда не возникало. Все читаемые параллельно сюжеты занимали в мыслях свое определенное место, они, подобно различным течениям в одной реке — глубинным, средним, поверхностным, — не перемешивались и не создавали мне затруднений. Иногда я даже позволял себе мысленно, но как можно более зримо и живо, «поиграть» сюжетами, меняя, например, местами героев книг, «пересаживая» их из одной истории в другую. Скажем, агатакристиевского сыщика Эркюля Пуаро я запросто мог представить себе беседующим о превратностях судьбы с Робинзоном Крузо на его острове, а мрачных Гарун-аль-Рашида и Селима Баруха из сказок Вильгельма Гауфа я мог вдруг «увидеть» отнюдь не в их родной пустыне, а почему-то в погребке Ауэрбаха в Лейпциге, мирно попивающих красное рейнское в обществе Фауста и компании, а может быть, даже бредущих где-нибудь по развалинам послевоенного Берлина рядом с героями Генриха Бёлля, и т. д.

Но к чему же этот фантастический калейдоскоп? — удивится читатель. Чем он-то помогал автору при изучении английского и немецкого языков? На этот резонный вопрос отвечу так: помощь для меня от всего этого, хотя на первый взгляд и не очевидная, но вполне реальная, имела свое место. Все в жизни так или иначе взаимосвязано, и, казалось бы, даже очень далекие друг от друга вещи всегда могут какими-то гранями соотноситься между собой — и не без пользы для того, кто намеренно я осмысленно пытается управлять этим «соотнесением», пытается использовать для своего самообучения самые разные психологические «рычаги». И тем более такие литературные, почтя виртуальные, фантазии. Да, они помогали мне лучше вжиться в их же образы, а значит, лучше их узнать и полюбить, а значит, раньше или позже вновь вернуться к ним, то есть перечитать и перечитать еще раз все эти любимые книги или хотя бы некоторые из них, а значит... Вот она и открылась, эта реальная польза: ведь перечитывать книги на новом для тебя языке, даже если ты уже неплохо им владеешь, — занятие более чем полезное как для еще лучшего усвоения языка, так и просто *for pleasure* — для души, для удовольствия.

### Какие еще приемы я использовал для активного внедрения в иностранный язык

Но не только прием сознательного переключения внимания помог мне в свое время достичь более глубокого сосредоточения на текстах и более живого интереса к ним. Я использовал для этого еще один столь же несложный, я бы даже сказал «доморощенный», прием, хотя и требующий для своего успешного применения небольшого предварительного навыка. На этот прием, в отличие от некоторых предыдущих, мне помогло выйти

уже не обобщение опыта деятелей искусства, а помогла, пожалуй, *happenstance* (чистая случайность). Впрочем, как известно, ничего абсолютно чистого в жизни не бывает, даже случайности. " Произошло это так. Довольно долгое время я интересовался вопросом синхронной работы левого и правого полушария мозга. Современная наука считает, что для усиления своих интеллектуальных возможностей (и внимания в том числе) человек должен научиться загрузать разнохарактерной работой сразу оба полушария мозга. При этом необходимо добиваться их самостоятельной, максимально не зависимой друг от друга работы. Достигается это весьма длительными (порядка нескольких Месяцев) и нелегкими тренировками. Например, одно из простейшими упражнений состоит в отработке одновременного, но противоположного по направленности движения рук. Известно, что Рука человека, если говорить об этом в упрощенной форме, непосредственно связаны с полушариями мозга. И если мы для начала научимся синхронно производить различные операции двумя руками свободно и почти автоматически, то можно считать, что мы уже на пути к овладению более эффективным речные и отвлекающие мысли, не позволяющие полностью сосредоточиться на и без того скучных и не очень доходчивых объяснениях профессора, вдруг получили дополнительную нагрузку — а ведь ручная работа все же требует к себе немало внимания. И значит, их мозг, подобно любому другому органу, испытывающему стресс, начал работать более активно, при этом как бы сжигая, устраняя из сознания излишние помехи и уже этим шире открывая дверь только для необходимой в данный момент учебной информации. В результате и оказалось, что студентки, сами того не желая (вязать-то они начали исключительно от скуки), стали сосредоточеннее слушать лекции и потому лучше усваивать материал.

Вот так, не углубляясь в тонкости, я объяснил самому себе это маленькое «чудо» третьего курса. Меня, как и тех студенток, гораздо больше интересовало практическое использование этого «секретного оружия», этого приема организации своих мыслей, который я назвал для себя «творческим раздвоением обучающегося сознания» (ТРОС). И должен сказать, в дальнейшем этот «трюк», образно выражаясь, стал неслабо вытягивать и мои мысли из болота рассеянности и апатии, помогая им лучше фокусироваться на усвоении необходимой информации.

Но сначала я пребывал в недоумении: могу ли я вообще воспользоваться этим способом, могу ли испытать его *in reality* (на деле), ведь занятие-то сугубо женское? Но чего не сделаешь ради пользы дела. Да и все-таки утешал тот факт, что зачинателями вязального ремесла были когда-то мужчины — рыбаки и матросы, сплетавшие свои замысловатые сети и морские узлы. Недолго думая, я попросил своих знакомых умельцев обучить меня этому искусству, приобретавшему теперь для меня глубокий смысл, как некий методический «ход конем», как еще один спасательный круг для моего не слишком стойкого внимания и не слишком блестящей памяти.

И вот не прошло и двух-трех недель, как я, к своему бесконечному удивлению, мог уже почти заправски управляться с двумя спицами и клубком шерсти. Теперь можно было перевернуть и к решению основной задачи: к совмещению физической работы и умственной. Надо сказать, что в тот период я находился уже на относительно продвинутом этапе изучения английского, и потому, довольно сносно понимая устную речь, мог отчасти отказаться от своих первоначальных 5-минутных прослушиваний новостей на английском (описанных в гл. 3) и начать слушать более разнообразные и длительные передачи из области общественной жизни, науки, культуры и др. Но должен признаться, что вообще-то, будучи человеком не очень усидчивым (в прямом смысле слова: не люблю долго «усиживать» на месте), я вряд ли стал бы просто так — даже с благородной целью изучения иностранного языка — просиживать каждый день перед приемником по 1, 5-2 часа. И вот здесь-то мое новое увлечение и выполнило одну из своих благотворных функций (о другой — чуть ниже), причем ту, о которой я и не подозревал: оно «привязало» меня (недаром же это и было вязание) к приемнику едва ли не морским узлом. Неторопливо плетя ажурную паутину своих первых, с каждым разом все более симпатичных вязаных изделий, я мог теперь час и другой слушать те передачи на английском, на которых раньше не задержался бы и одной минуты по причине их якобы полной для меня неинтересности и сложности. Теперь же, во-первых, мои руки были заняты кропотливой работой и я просто не мог себе позволить часто вращать ручку приемника в поисках более подходящей для моих вкусов передачи, а во-вторых, послушав первые 5-10 минут, казалось бы скучную и труднопознаваемую передачу, я незаметно втягивался (опять хочется сказать «ввязывался») в ее тематику и слушал уже до конца, принося тем самым немалую пользу своему неокрепшему еще английскому.

Другая же благотворная функция моей ручной работы состояла в непосредственном, можно сказать физиологическом, ее воздействии на интеллект. Правда, здесь труднее определить конкретные проявления такого воздействия. Я мог бы пуститься в пространные рассуждения о возникающих у меня при этом «спецэффектах»: децентрализации сознания при таком почти медитативном процессе (при котором, как известно, информация усваивается лучше), об отрешенности мысли, освобожденной от оков суетливого напряжения, о незамутненности потока сознания и даже о некоем состоянии невесомости духа. Но я скажу лишь одно: мне действительно теперь лучше удавалось сосредоточиться на английском языке. Не берусь утверждать, что это и был типичный случай двуполушарной работы мозга. Но то, что все эти мелкие целенаправленные и четкокоординируемые движения рук и пальцев оказывали мягкое, стимулирующее действие на мозг, — это так. Еще я понял, что механическая ручная работа в данном случае должна быть именно работой, а не развлечением, то есть она должна иметь хотя бы некоторую для меня значимую, созидательную результативность. Только в таком случае она сможет по-настоящему выполнить роль громоотвода, заземления для отвлекающих от умственной работы шальных мыслей и тревожных эмоций. Кстати, эту роль может, вероятно, выполнять не только вязание, а и любая другая не очень сложная производительная ручная работа: вышивка, бисероплетение, макраме и др. Мое же вязание, ставшее для меня вскоре почти хобби, в дальнейшем помогло мне также плавно втянуться и в систематические прослушивания довольно монотонных — как мне тогда казалось — немецкоязычных радиоголосов.



Ну что же, спасибо тем студенткам, не пожелавшим в свое время бездумно томиться и скучать на некоторых лекциях. А ведь они могли просто рисовать чертиков, писать письма или смотреть в окно. И что бы тогда делал я со своей неусидчивостью? Но студентки предпочли и трудиться, и учиться — и не без обоюдной пользы для того и другого. Наверно, это был один из тех случаев, о которых говорят: *"Every cloud has a silver lining"* («Нет худа без добра»).

Далее в этой главе я хочу описать ряд вспомогательных приемов, которые не только помогли моей памяти лучше усваивать иностранные слова и тексты, но — и это еще более ценно — помогли мне находить лингвистический интерес и удовольствие там, где я раньше и не предполагал их найти. Эти приемы я бы разделил на «технические» — не требующие особой фантазии и эмоций — и «творческие», срабатывающие лишь при активном художественном восприятии информации. Впрочем, четкого разделения между ними быть не может — как и в любом другом деле вообще, — что для нас и хорошо, так как позволяет нам, к примеру, даже в самом традиционно-повседневном процессе обучения изыскивать возможности для каких-то творческих подходов, для новаций, для работы «с огоньком» в душе, а значит, и для достижения определенных практических результатов.

Одна из причин слабого усвоения иностранных слов состоит в том, что мы, как правило, не уделяем внимания самой элементарной психологии. Например, часто плохую услугу нам оказывает стойкая школьная привычка сразу смотреть в ответ. Чуть не решается задача или не вспоминается иностранное слово — сразу тянет на готовенькое. Голову-то ломать зачем?

Осознав однажды и у себя наличие этой не слишком разумной привычки, я решил ее перехитрить, решил помочь своей памяти, поставив ее в соответствующие условия. Для этого я не стал больше выписывать в свои блокноты-словники или на карточки английские слова вместе с их русским переводом на обороте. Я стал теперь записывать на них слова только по-русски. Расчет был прост. Если я, глядя на русское слово, не мог тотчас вспомнить его по-английски, то теперь я уже не имел возможности, как раньше, тут же заглянуть в ответ, то есть перевернуть карточку и увидеть его по-английски. А как известно, если наш первый порыв бывает вовремя погашен, то искушение чаще всего удается преодолеть. В данном случае — искушение подглядеть, подсмотреть, а значит, лишить свою память полезнейшей для нее нагрузки и тем самым оказать самому себе медвежью услугу. Выход (разумный) оставался только один: мой мозг, моя память, поставленные в более жесткие условия, должны были активизироваться. Ведь они понимали, что помощи больше ждать неоткуда, подсказки не будет, напрягаться теперь надо по-настоящему. Да, молено было все-таки открыть русско-английский словарь и найти там забытое олово. Но уговор дороже денег: я Дал себе зарок не подсматривать, даже, казалось бы, напрочь забытое слово хотя бы один или два дня, предоставляя своей я смог уже обходиться без посредничества карточек, запоминая все более редкие для меня незнакомые иностранные слова прямо из словаря или «по-морозовски» доходя до их понимания из контекста.

Для лучшего запоминания иностранных слов я не ограничился использованием лингвокарточек, даже и в их немного «хитром» варианте. Помятуя об огромной роли эмоций при восприятии информации, я решил подключить к делу и этот фактор. И здесь, как и в случае с книгами Н. Морозова, которые я почти случайно обнаружил в своем книжном шкафу, мне также в чем-то повезло. В детстве и юности я увлекался филокартией — коллекционированием открыток. И хотя позже я оставил это интересное и полезное занятие, дома у меня сохранился изрядный запас открыток разных эпох, стилей и сюжетов. Но, самое главное, я не забыл еще ощущения, которые вызывали у меня эти, как я их называл, «кусочки жизни» и «кусочки искусства». Это была целая гамма чувств: от удивления и восторга до раздражения и неприятия. В момент их созерцания я погружался в состояние произвольной сосредоточенности и даже умиротворенной отрешенности от всего окружающего. Часто я рассматривал их с помощью лупы, обнаруживая при этом такие детали, которые невооруженный глаз просто бы не заметил. Меня особенно интересовали всякие едва различимые, почти невидимые мелочи. Я чувствовал себя тогда чуть-чуть исследователем. Так почему бы мне и теперь было не воспользоваться всем этим эмоциональным богатством, будто специально предназначенным для решения моей языковой задачи? *"Dictum factum"* («Сказано — сделано» — лат. )

Для начала я отобрал десяток ярких репродукций — пейзажи, портреты, натюрморты. Затем взял словарь и на оборотной стороне каждой открытки перечислил по-русски и по-английски все основные детали сюжета. В скобках я приводил синонимы или слова, более-менее близкие по тематике к основному слову, — для дополнительного, как бы веерообразного расширения своего словарного запаса. Если оставалось место, я туда же записывал несколько словосочетаний, а также пословицы и поговорка на тему данного сюжета (ежели удавалось их найти в словарях и справочниках). Например, вот что я записал на обороте одной открытки, изображающей солнечную панораму большого черноморского порта:

море (залив, пролив) - *sea (bay, strait)*;  
 порт (гавань, рейд) - *port (harbour, road)*;  
 пристань (причал, мол, маяк) - *landing-stage (moorage, pier, lighthouse)*;  
 пароход (корабль, катер, лодка) - *steamer (ship, launch, boat)*;  
 палуба (мачта, флаг, труба) - *deck (mast, flag, smokestack)*;  
 берег (набережная, песок, скалы) - *shore (embankment, sand, rocks)*;  
 кругосветное плавание — *voyage round the world*;  
 ждать у моря погоды — *to let the grass grow under one's feet*;  
 море по колено — *a false bravado*;

морская битва — *naval battle*.

Далее я постарался запомнить все эти английские слова, внимательно рассматривая изображение на открытке и пытаясь как можно крепче связать зрительный образ с его словесным выражением. Но это был первый этап работы, точнее, увлекательного общения с открытками. Второй этап состоял в том, что через некоторое время

(через день-другой, затем через неделю и наконец через две-три недели) я должен был, глядя уже только на изображение, вспомнить и соответствующие английские слова. И вот здесь-то и был гвоздь программы — ведь как раз при этом срабатывал механизм, основанный на эффекте мнемокомплекса (от древнегреч. «мнеме» — память). Этот эффект заключается в том, что два (или более) разнородных вида информации (например, слово и изображение), будучи при их запоминании мысленно объединены в одно целое, в единый комплекс мыслей и чувств, и сохраняются в памяти в таком же едином, как бы спрессованно-концентрированном состоянии, что и облегчает их вспоминание. Стоит позже воспринять (в данном случае — увидеть) один из видов информации (в нашем случае — изображение на открытке), как сразу и как бы автоматически припоминается и Другой вид (иностранный слово).

Я обнаружил и еще один бесполезный для себя нюанс такого мнемокомплексного запоминания. Дело в том, что не только каждое слово при запоминании подкреплялось соответствующему изображением на открытке, но и все эти 20-30 слов, записанные на обороте, будучи тесно связаны между собой общей темой, и запечатлевались в памяти одним целым блоком. Они были там теперь словно бы записаны на одной кассете. И стоило затем лишь взглянуть (даже лишь бросить беглый взгляд) на саму кассету, как в голове уже одна за другой звучали все мелодии, на ней записанные. Впоследствии я часто использовал этот эффект. Так, бросив взгляд на какую-либо из ранее отработанных открыток (к примеру, ту же панораму черноморского порта) и вспомнив оттуда хотя бы одно слово по-английски (например, паролод), я уже не нуждался в натужном припоминании остальных слов, они уже подразумевались, они уже почти рефлекторно возникали в памяти. Наконец, я охотно поддерживал и пополнял свой словарный запас с помощью открыток еще и потому, что с ними не только полезно, но вообще приятно и удобно было иметь дело. Ведь рассмотрев и запомнив детальнейшим образом, вплоть до мелочей, около сотни прекрасных художественных сюжетов (репродукции полотен великих живописцев либо просто фотографии замечательных пейзажей, дворцов и пр.), я создал в своей памяти (читай: в душе) активный фонд ярких образов, которые мог теперь мгновенно вызывать и оживлять, сопоставлять и как угодно варьировать, да хотя бы просто созерцать, разглядывая их мысленным взором и получая при этом неизменное, можно сказать гарантированное, эстетическое наслаждение. Причем без всяких внешних помех, в любом месте и в любое время — ведь мне не надо было носить с собой в карманах десятки открыток. Зная их как свои пять пальцев, я мог отныне, включив свой внутренний «экран», мысленно обозревать по желанию любой из знакомых сюжетов.

А поскольку я не только созерцал и наслаждался, но между делом и старался припоминать названия всех деталей сюжета по-английски, что получалось, как я уже говорил, почти автоматически, то довольно быстро мой словарный арсенал вырос еще -примерно на тысячу с лишним новых слов (далеко не все открытки были столь насыщены деталями, как уже упоминавшаяся с видом черноморского порта; в среднем с одной открытки я «снял» лишь от двух до пяти новых слов). Впрочем, при всех своих достоинствах открытки не могли составить конкуренции лингвокарточкам, так как лексика открыток ограничивалась предметными существительными (например, паролод, берег, пристань и пр.), более же сложные, отвлеченные понятия, не говоря уже о глаголах и других частях речи, оставались невостребованными. Поэтому их приходилось запоминать с помощью лингвокарточек либо иным путем.

Мнемокомплексный способ запоминания иностранных слеш я одно время подкреплял и разнообразил с помощью такого эффективного средства, как целенаправленные посещения излюбленных мною музеев и художественных галерей. На меня, в.; всяком случае, эти посещения производили сильное, почти гипнотическое действие. Я их называл «арс-погружениями» (*ars* — искусство, *лат.*) у Попробовав как-то раз побродить по тихим музейным залам не только ради созерцания шедевров живописи, но еще и с целью активизации своих языковых способностей, я сразу оценил значение эмоционального воздействия всей завораживающей музейной атмосферы на человека, изучающего иностранный язык.

Действительно, одно дело разглядывать (даже очень внимательно) свои малоформатные открытки-репродукции (даже если они отличного качества), другое дело — самому оказаться в храме искусства и всей кожей впитывать в себя роскошь его подлинных образцов. А ведь чем сильнее эмоция, тем лучше усваивается и спаренная с ней информация.

И вот шагая от одной картины к другой в бесконечных и сказочных ли залах Эрмитажа, в элегантно-строгих ли анфиладах Русского музея или в наскоро приспособленных для экспозиции комнатах многочисленных в нынешнее время художественных галерей, я сначала подыскивал картину, в которую мог бы, как в животворный источник, погрузиться всеми своими чувствами, зная, что они уж сработают на меня. И чувства, если они были достаточно яркие и глубокие, меня почти никогда не подводили. Они, словно цементный раствор, прочно схватывали «кирпичики» новых иностранных слов, которые я методично и аккуратно укладывал в своей памяти.

Делал я это так. Подойдя к картине, я прежде всего определял «богатство» ее сюжета, то есть ее насыщенность объектами, необходимыми для моих запоминательных целей, а также силу ее эмоционального заряда. Далеко не все картины устраивали меня в этом отношении. Понятно, что если в зале висело, к примеру, 20 картин И. Шишкина с великолепными видами лесов, полей и рек, то мне вполне достаточно было «обработать» 5-6 из них, чтобы удовлетворить свой словарный аппетит по этой тематике, по крайней мере на данном этапе изучения языка. Найдя подходящую картину, я сначала пытался обсказать ее своими средствами, то есть уже известными мне английскими словами (как это было и с открытками). Когда же мои ресурсы английской лексики истощались, я обращался к неизменному своему спутнику — карманному, или как я его называю, портативному, — словарю. Здесь же, у картины, я выписывал из него в такой же портативный блокнот новые английские слова. После чего переходил к следующему произведению. Обработав так несколько картин в одном зале, я еще раз, уже бегло, просматривал их, пытаясь теперь, не глядя в словарь, припомнить всех «новичков», что мне удавалось неплохо, процентов на 80-90, за счет, повторяю, неразрывной спаренности этих слов с моими эмоциями, которыми я старался насытить весь процесс запоминания. Далее я обходил в таком же режиме еще

залов 10-12, находясь в каждом из них от 15 до 30 минут. И вот за 2-3, иногда, если хватало сил, — 4—5 часов такого интенсивного «*ars*-погружения» я довольно основательно впитывал в себя до сотни или больше новых иностранных слов. Причем это ведь были в основном те слова, которые обычным путем — без эмоционального фактора, а лишь через чтение текстов, то есть механически или, если угодно, логически — я вряд ли бы сразу усвоил. Скорее всего, я бы их даже проигнорировал, как бы не заметил, стараясь не перегружать слишком свою память. Действительно, это были те слова, что не очень часто встречаются как в текстах, так и тем более в повседневной жизни, в общении. Но знать-то их все-таки желательно, так как мы ведь читаем иногда и старые английские романы, да и вообще нашему уму отнюдь не повредит немного как бы избыточного знания — хотя на самом деле в языке для нас ничего избыточного быть не может, может быть только недостаточное. В качестве примера хочу привести несколько таких слов и словосочетаний. Для наглядности беру те из них, которые входят в названия некоторых картин (кстати, даже в крупнейших музеях названия далеко не всех картин снабжены английскими переводами, из чего я в шутку делал вывод, что они, наверное, просто непереводаемы):

С. Вуэ. «Распятие» (*"The Crucifixion"*);

Я. Госсарт. «Снятие с креста» (*"The Descent from the Cross"*);

Ж. Ш. Белланж. «Оплакивание Христа» (*"The Lamentation"*);

А. Дерен. «Натюрморт с черепом» (*"Still Life with a Skull"*);

А. Ломбард. «Милосердие» (*"Charity"*);

Б. Фунган. «Великодушие Сципиона Африканского» (*"Magnanimiti of Scipio"*);

О. Ренуар. «Девушка с веером» (*"Girl with a Fan"*);

Ж. Б. Шарден. «Прачка» (*"The Laundress"*);

К. Моне. «Стог сена» (*"Haystack"*);

А. Саврасов. «Просека в сосновом лесу» (*"A cutting in a pine wood"*);

А. Саврасов. «Радуга» (*"Rainbow"*) и т. д.

Сейчас издается немало учебников и пособий по иностранным языкам, где к каждой теме предлагается целый ряд картинок, иллюстрирующих новые слова. Но, честно признаться, с помощью этих, зачастую, полуабстрактных и уж, во всяком случае, начисто лишенных какого-либо эмоционального накала изображений запомнить новые слова бывает несколько не легче, чем просто выучить их «всухомятку» по словарю. И совсем другое дело, когда мы созерцаем хорошие и к тому же подлинные образцы живописного искусства. Вот, к примеру, мы смотрим «Радугу» Саврасова. При этом мы наслаждаемся роскошью небесного зрелища, преподнесенного художником с любовью и нежностью на фоне живописнейшего, какого-то гипнотически-очаровательного уголка русской природы. И неудивительно, что в эти прекрасные для нас мгновения английское слово "*rainbow*" (радуга) произвольно и надежно загружается в недра нашей памяти, готовое тотчас оттуда вынырнуть по первому зову, даже если этот зов прозвучит спустя продолжительное время, — для этого достаточно будет вновь вызвать, оживить в сознании образ поразившей когда-то картины Саврасова. Итак, насладившись любимыми картинами и в то же время «выжав» из них необходимую мне лексику, я часто раскручивал в воображении те ассоциации, которые порождали у меня эти картины. Я имею в виду не художественные фантазии, вызванные сюжетом картин, — их приходилось, наоборот, притормаживать, — а чисто словесные, языковые вариации по данной теме. Например, я всегда очень любил морские сюжеты: буйство и свежесть красок, живописующих все эти исполинские «девятые валы», белоснежные гребни и искрящуюся пену, могучие фрегаты, изящные каравеллы и даже утлые лодочки на фоне какой-нибудь древ-негреческой гавани — все это очаровывало и «возмущало» мою душу. И вот теперь, стоя перед полотнами Айвазовского, Лагорио, Лорена, Марлоу и других маринистов, я к этому своему душевному «возмущению» старался добавить и практический языковой смысл. Так, созерцая горстку людей на плоту, терпящих бедствие в штормовом море, я пытался описать этот сюжет по-английски не только основными словами (шторм, кораблекрушение, плот, шлюпка, волны, ветер, брызги, туман), но и теми, которые могут быть как-то непосредственно или косвенно связаны с ними по ассоциативной цепочке (тонуть, кричать, страдать, мерзнуть, судорожно, безумно, непрерывно, насквозь, лохмотья, отчаяние, гибель, судьба, надежда, спасение и др. ). По словарю я находил соответствующие английские слова, выписывал их здесь же и, глядя вновь на картину, повторял, стараясь при этом как можно полнее и глубже проникнуться и соответствующими эмоциями. Увлекательное, кстати сказать, занятие. Затем в течение недели дома или вообще где придется я периодически старался вызывать в памяти образы виденных картин — включая, как и при работе с открытками, свой мысленный «экран», — и тут же обсказывать их по-английски. Через неделю, придя в тот же музей (а посещать музеи мне удавалось в основном лишь по субботам и воскресеньям, хотя особенно я ценил будничные посещения, т. к. для моих «погружений» требовались тишина и безлюдье), я обязательно, прежде чем продолжить свою экскурсию по следующим залам, еще раз обходил проработанные в прошлый раз, повторяя при этом путем «считывания» с картин некоторые наиболее труднозапоминаемые слова. И еще одну хотя сначала и незапланированную для себя пользу я извлекал по ходу каждого визита в музей. В каждом из залов, по крайней мере, на несколько минут, я невольно становился слушателем экскурсий на английском (и немецком) языке для групп иностранных туристов. А уж слушать я научился, как помнит читатель, не хуже, чем смотреть, — во всяком случае слушать то, что меня очень интересовало. Вскоре мне это даже понравилось, так как я ощутил несомненную пользу для своего английского от приобщения к дополнительному источнику информации. Правда, «приобщаться» приходилось как бы невзначай и соблюдая ради приличия некоторую дистанцию от рассеянно блуждающих по залу интуристов, расслабленных обилием художественных впечатлений. Но слышно все было довольно хорошо благодаря тренированным голосам, а подчас и где-то утрированно-раскованному стилю речи гидов-переводчиков. В эти драгоценные для меня мгновения я весь обращался в слух, а по прошествии их, когда группа солидно перетекала в следующий зал, сразу хватался за ручку, пытаюсь хоть частично запечатлеть на бумаге что-то для себя новое (в отношении

языка). В результате таких «подслушиваний» и некоторой собственной инициативы я уже месяца через 2-3 был, как мне показалось, в состоянии и сам провести неплохую обзорную экскурсию на английском по Эрмитажу и Русскому музею.

Вообще же с музеями у меня всю жизнь связаны самые приятные впечатления. Но если раньше все мои хотя и желанные, но довольно сумбурные «набеги» на музеи, дворцы и соборы сводились к поверхностным и почти бессистемным осмотрам экспозиции и интерьеров, то теперь мои новые учебно-языковые потребности вывели меня на новую орбиту общения с искусством, шире открыли на него глаза. Действительно, теперь я должен был очень внимательно всматриваться в картины, скульптуры и другие экспонаты, чтобы, во-первых, найти в них те детали, которые я мог бы с пользой для себя назвать по-английски, и, во-вторых, получить при этом максимально полную эмоциональную загрузку. Такое более пристальное всматривание позволяло мне глубже вникать в суть сюжета того или иного произведения. А это, в свою очередь, еще больше подогревало интерес к ним. Ведь настоящие, талантливые произведения искусства обладают чудесным свойством вновь и вновь приковывать к себе внимание, причем с каждым разом все сильнее. И даже если в десятый или двадцатый раз общения с ними мы уже больше не будем находить в них каких-то новых для себя деталей и подробностей, то и тогда всё новые и новые (или, если угодно, старые, но чуть иначе эмоционально окрашенные и развернутые — как в калейдоскопе) ассоциации и размышления будут струиться в наших головах, а значит, и всё новые, как бы самопорожденные впечатления и чувства будут омыwać, услаждать и духовно оплодотворять нас. С тех пор я полюбил систематически бывать в музеях, полюбил погружаться в них осмысленно и отрешенно — и уже не только ради иностранного языка. Мои языковые интересы незаметно переросли свои рамки и переплелись с художественными, поспособствовав более тесным и насыщенным контактам с искусством. Но, с другой стороны, изобразительное искусство было не единственным «движком» и вдохновителем моего языкового самообучения.

Я всегда старался использовать разнообразные средства для лучшего усвоения английского и немецкого языков, но при этом отдавал предпочтение несложным, житейским. Среди них одним из самых излюбленных для меня было и следующее (оно, правда, сильно зависело от погоды и времени года, и все-таки... ). Будучи любителем пеших прогулок и мини-путешествий, я часто и с удовольствием проводил свободные дни за городом. Не имея собственной дачи и, значит, обладая свободой действий, я много двигался, преодолевая обычно в день по 15<sup>^</sup>-20 километров. Хорошим днем весной, летом или осенью, сойдя с электрички где-нибудь за полсотни верст от города, я бодро вышагивал с небольшим рюкзаком за плечами по полям и лугам, вдоль - железнодорожной насыпи или по берегу залива. Зачастую со мной вместе «проветривались» еще один или два человека — товарищей или родственников — таких же любителей-странников, как и я. Для нас не столь важно было, к какой цели идти, главное — в тишине, вдали от грохота и дыма большого и не очень озабоченного здоровьем своих обитателей города.

И вот с некоторых пор в моем рюкзаке рядом с привычными фляжкой и бутербродом прочно усоседились и нехитрые атрибуты моего усердного языкового тренинга: небольшая книжка на английском, словарь и, конечно, ручка с блоком. Правда, использование этих атрибутов сразу замедлило темп моих марш-бросков на лоне природы. Но зато наряду с оздоровительно-развлекательным характером они приобрели теперь еще и лингвопопознавательный смысл. Мне это понравилось. Я даже стал называть свои загородные прогулки «лингвистическими путешествиями». И мне было уже непонятно, как это раньше я мог просто так, бесцельно слоняться «по долинам и по взгорьям», напрягая при этом только ноги, но расслабляя при этом свои умственные и волевые способности. Зато уж теперь все было гармонично.

Шагая по уединенным тропинкам (уже, как правило, в одиночестве), я держал в руке книжку, временами заглядывая в текст. На ходу вычитав оттуда несколько предложений, я старался их твердо запомнить, повторяя про себя или даже вслух — благо свидетелей этих поначалу довольно робких заучиваний поблизости не было. Но вскоре (на протяжении таких 5-6-часовых прогулок) я уже мог запоминать по несколько страниц английского текста. Если учесть, что чистого времени на это уходило лишь часа 2-3 - все же надо было питаться, купаться да и смотреть иногда по сторонам, — то для начала и это было неплохо. Вероятно, тишина, чистый воздух и относительно размеренное движение хорошо помогали памяти.

Итак, зафиксировав — хотя, скорее, еще глазами, чем памятью, — два или три абзаца иностранного текста (это мог быть также маленький рассказ, анекдот и пр. ), я пытался теперь заучить их уже начисто, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало. И сделать это без раскачек, за каких-нибудь несколько минут. Но поскольку это происходило на ходу, то я решил как-то использовать это обстоятельство. Для пущей активизации памяти и волевых усилий я стал «привязываться к местности». Это означало, что где-то впереди по моему маршруту, метрах в 100-150, я определял для себя какой-либо символический ориентир: сломанное дерево, поворот дороги, речку, мост, семафор и др. И давал себе «железную» установку: дойти до ориентира и следовать дальше только в том случае, если на протяжении этой короткой дистанции я сумею быстро и без запинки несколько раз подряд повторить только что усвоенный отрывок. И вот здесь и начинался, пожалуй, самый трудный и в то же время самый полезный и увлекательный этап моего пешеходного обучения. Я самозабвенно шагал по своей прихотливой трассе. Она вела меня к цели, как мне казалось, с каждым мгновением все быстрее, оставляя все меньше шансов на выполнение моей скромной задачи, хотя шаги мои при этом произвольно замедлялись. Со стороны забавно, наверное, было наблюдать неравномерно шагающего, сугубо сосредоточенного на каких-то своих мыслях человека, что-то бормочущего, потирающего иногда с досады лоб и даже всплескивающего руками.

Но мне было не до забавы. С каждой секундой цель приближалась, а английские слова и фразы все никак не хотели легко и плавно слетать с языка. Часто бывало, что, уже подойдя к своему ориентиру, я вынужден был там на несколько минут останавливаться, чтобы все-таки довести до победного конца свой пересказ. И вот эти-то замедления и остановки как раз и становились тем подстегивающим фактором, который заставлял меня как следует напрягаться и доводить процесс запоминания почти до блеска. Дело в том, что за многие предыдущие

годы своих тогда еще бессмысленных загородных прогулок я привык двигаться всегда в одном и том же равномерном ритме и довольно высоким темпе. Теперь же мне приходилось постоянно ломать этот темпоритм, что меня очень раздражало. Выход был один: активизировать свою память настолько, чтобы она полностью справлялась с поставленной задачей, не принуждая меня изменять своим туристским привычкам. И постепенно этого удалось достичь: память стала усваивать предлагаемые ей тексты все более надежно и во все большем объеме. Во всем этом было что-то игровое и как бы самосоревновательное, что, вероятно, помимо чисто волевых усилий и заставляло меня потихоньку «поднимать планку» — давать себе более сложные тексты и повышать скорость их запоминания.

Вот так я в очередной раз поставил на службу своему самообучению простой, но довольно сильнодействующий фактор бытовой психологии — противоречие между своей старой привычкой (к равномерному и быстрому передвижению по местности) и своей новой потребностью (интенсивного усвоения информации).

Во время таких лингвистических путешествий я не только запоминал и повторял книжные тексты. Ведь прежде всего я был туристом, а это значит, что я должен был побудить себя и смотреть на все глазами английского *traveller*. И если в музеях мне удавалось неплохо обсказывать сюжеты картин, то и здесь я решил воспользоваться тем же приемом. Сначала я попытался хотя бы наименовывать окружающий меня мир по-английски. Природа, люди, машины, поезда, корабли и яхты, самолеты и вертолеты, пение птиц и шелест листвы, «серебро и колыханье сонного ручья» — все, что я видел и слышал вокруг себя, поблизости или вдалеке, стало теперь получать свои английские (как впоследствии и немецкие) названия. Конечно, в основном — и особенно поначалу — с помощью словаря. Когда же к ним (то есть к существительным) постепенно начали добавляться глаголы и другие части речи, то все это почти невольно и все чаще уже складывалось в несложные предложения, а позже и в некое подобие устных зарисовок.

Наконец, позволяя себе и чуть расслабиться, я иногда присаживался на пенек или камень и просто так, для души и для смены деятельности — без словаря и без заучиваний, — прочитывал несколько страниц из своей английской книжки, извлеченной вместе с бутербродом из рюкзака.

Таким образом совмещая на ходу три вида усвоения — запоминание текстов, устные зарисовки и свободное чтение, — я и продвигался вперед и как турист по лесным тропинкам, и как учащийся по тропам познания. Не очень быстро, но неуклонно.

Возвращаясь вечером домой в электричке, я, если удавалось присесть, обычно закрывал глаза и либо тут же задремывал, повторял-прокручивал мысленно все то новое, что удалось усвоить за день. Чаще всего я был доволен своим «рабочим» днем. И пожалуй, единственное, что меня немного не удовлетворяло в этих блиц-путешествиях, так это вынужденное одиночество. Но я отдавал себе отчет, что оно было именно вынужденным: ни друзья, ни родные и близкие не могли и не должны были сопровождать меня на этих «километрах памяти».

Увы, мне приходилось выбирать между ними и иностранным языком, и часто не в их пользу. Ну что ж, я понимал, что даже в таком совсем не героическом занятии, как изучение иностранного языка, требуется некоторое самоотречение или, во всяком случае, самоограничение. Это была плата за знания. И я ее платил. Помимо трех видов усвоения языка во время загородных прогулок был у меня и еще один. Но я хочу сказать о нем отдельно, так как не могу ставить его в общий ряд с другими — он по сути своей выше их, я бы даже сказал, он парит над ними. Это — поэзия. Для полной ясности должен признаться, что вообще-то стихи меня никогда особо не интересовали и за душу почти не трогали (за редким исключением). И потому — как это не приземленно и едва ли не цинично прозвучит — поэзию я стал использовать в своих учебно-языковых интересах (во всяком случае, на первых порах) лишь как хорошее средство, как тонкий инструмент для лучшего познания иностранного языка. Но в то же время у меня все-таки хватило тогда резона рассудить, что изучать иностранный язык без хотя бы беглого знакомства с одной из его самых изящных литературных форм нельзя. Ведь поэзия — это сливки литературы, это ее деликатесы. Шедевры поэзии и создают обычно лучшие мастера литературного языка, знатоки жизни народа и его национальной психологии. И значит, оставить без внимания этот важнейший пласт культуры для изучающего язык было бы просто неразумно и, если угодно, нерасчетливо. Вот так, скорее от логики, чем от любви, я пришел к поэзии — но ведь от чего-то надо было оттолкнуться.

Поначалу я решил заучить всего несколько самых хрестоматийных английских стихотворений, которые приводятся во всех школьных учебниках и популярных сборниках. Запомнив порядка двух-трех десятков в основном небольших стихотворений или фрагментов из крупных произведений (типа «Гамлета»), я не стал далее гнаться за количеством, понимая, что здесь важнее качество. И действительно, уже вскоре я стал замечать интересное и полезное для себя явление: чем больше я читал (и особенно, вслух) какое-либо английское стихотворение, тем быстрее... я переставал его замечать, то есть воспринимать его как чуждый для себя отрывок информации на еще мало мне знакомом языке. Все чисто стихотворные обороты, непривычные с точки зрения «нормальной» английской стилистики и грамматики, — не говоря уже про русскую, — постепенно вписывались, встраивались в мою логику, в мое понимание, делаясь для меня привычными и почти родными. Я вживался как в образ стихотворения, так и в его словесную форму. Кроме того, стихи давали пищу для размышлений не только по поводу их содержания, но и по поводу самого их языка. А это и было моей целью. К многократному повторению стихов по памяти я относился не как к механическому процессу, а как к способу их изучения. Да, я «изучал» стихи почти так же, как изучают формулы или схемы. Не скажу, что прямо сразу, но все же довольно скоро мне уже стал интересен и приятен сам этот «дешифровальный» процесс — разгадывать хитросплетения стихотворной грамматики и лексики. При этом я вновь и вновь убеждался в том, что одну и ту же мысль можно, оказывается, выразить и так, и сяк, и даже этак — и без нарушений основных правил языка, хотя и с отклонениями от них. Чем чаще и усерднее я наизусть читал и перечитывал стихи, к старым иногда присоединяя новые, более сложные и витиеватые, вдумываясь при этом в каждую строку, в каждое слово, тем очевиднее становились для меня многие закономерности и парадоксы изучаемого языка. Да и самые обычные, нормальные языковые обороты и формы от этого только еще лучше впечатывались в мое сознание.

Что же касается собственно слов, то я старался их не столько запоминать (это было не очень сложно), сколько тщательно «притирать» их в своем восприятии, отслеживая их взаимосцепление в каждой строке. Так я и разбирал стихи «по винтикам», взвешивал и оценивал их, играя какое-то время отдельными строками и целыми строфами. Я даже комбинировал их, заменяя строфу одного стихотворения на строфу другого, делая это в уме, что заодно неплохо тренировало и память. Получившуюся «солянку» несколько раз репетировал для уже твердого запоминания и затем в течение нескольких дней прокручивал в памяти, опять-таки производя попутно некоторые перестановки. И хотя подобные манипуляции низводили высокую поэзию до уровня искусственных и просто бессмысленных конструкций, а сам такой процесс мало напоминал традиционное обучение, я, особо не смущаясь, все же получал пользу и от него. Конечно, все эти технические выверты играли временную и вспомогательную роль — они были лишь частью моего неформального подхода к самообучению. Может быть, без них было бы и проще, но, быть может, и наоборот — их отсутствие стало бы тем *missing link* (недостающим звеном), которое, пусть немного, но затормозило бы мое продвижение вперед.

В предыдущей главе я рассказывал о своих грамматических шаблонах, которыми успешно пользовался при чтении иноязычных текстов. Однако при всей их практичности те шаблоны как средство обучения были все-таки суховаты и не очень приятны в использовании. Стихи же стали для меня — конечно, лишь до некоторой степени — как раз приятными и привлекательными «шаблонами» по грамматике. И самое главное — они были всегда в голове. Именно это обстоятельство, как мне кажется, в дальнейшем больше всего и способствовало перерастанию моего чисто «изучательного» отношения к поэзии в «насладительно-одухотворительное». Очевидно, в моей душе пошел тот же процесс, что и в случае с живописью, от общения с которой я стал получать все больше радости по мере все большего внедрения в нее — особенно заочного, мысленного, — когда я развил способность более или менее четкого обозрения ее шедевров своим внутренним «оком». Стихи же я не мог — не обладая хорошей фотопамятью — мысленно видеть, хотя отдельные слова и даже целые строки, как и при описанных выше воспоминаниях текстов, мне удавалось довольно неплохо зрительно «высвечивать», и это реально помогало восстанавливать в памяти полузабытые строфы, а иногда и целые стихотворные фрагменты. Ну а то, что всегда в голове, то, что можно воскресить в памяти в любую минуту, постепенно превращается из поначалу просто учебного материала в материал духовный.

За некоторое время я довел, особо не форсируя этот процесс, число выученных и проработанных на свой манер английских стихотворений примерно до полусотни, на чем, правда, надолго и остановился. Но зато уж этот свой небольшой «золотой запас» (я уже не в первый раз использую в книге это определение, но более точного и яркого мне просто не подобрать) я стал эксплуатировать *with all one's might* (изо всех сил). Например, во время прогулок или тех же лингвопутешествий я с удовольствием декламировал свои любимые английские и немецкие стихи. Я это делал обычно в начале пути, как бы для разминки, для прочистки своих «духовных» каналов от всяких там житейских закупорок и наслоений. Но я читал стихи иногда и в конце трудного пути, поскольку и в чисто физическом отношении они поддерживали меня — помогали преодолевать усталость и даже боль и телесные недомогания. Моими невольными, но при этом и на зависть вольными слушателями были лишь окрестные перелески и заросли, воробьи и вороны, белки и ежики. Но и эта «аудитория» меня вполне устраивала. Тем более что и стихи-то мои излюбленные были о той же природе, о жизни, о счастье. Но не только на природе, а в любом другом месте (дома, на работе) иноязычные стихи стали все чаще выполнять для меня свою вдохновляющую роль. К примеру, утром — для интеллектуально-духовной зарядки, или днем — перед началом какой-либо мало-мальски творческой работы — я повторял минут пять (больше и не надо было) те или иные любимые строки: что-нибудь из Шекспира, Байрона, Йейтса, Элиота или Гёте, Гейне, Брентано, Мёрике и др., но именно те, которые соответствовали в данный момент состоянию моей души, либо, наоборот, могли бы настроить меня на необходимый образ мыслей и чувств. Так же я поступал часто и по ходу самой работы, скажем, при чтении трудного иноязычного текста: почувствовав утомление или даже заскучав, я, чтобы как-то снять психическое торможение и устранить внутреннее неприятие тяжелого текста, прочитывал по памяти (с выражением и с некоторой мимикой и жестикуляцией, чтобы лучше войти в образ) пару-другую любимых стихов на этом же языке. Наверно, в чем-то это было подобно молитве. И маленькое чудо совершалось: я словно подзаряжался высокой творческой энергией, как бы духовно подпитывался, причем, что называется, из того же «колодца», то есть из того же языка, читая на котором текст, я только что уже чуть было не раскис. Да, это почти медитативное чтение стихов из моей «элитной» коллекции неизменно вызывало во мне ощущение любви и нежности к данному языку. При этом я испытывал не только высокую радость, но и гордость оттого, что эти вдохновенные строки великих поэтов хотя бы отчасти, но принадлежат теперь и мне, воздействуют и на мою скромную жизнь. Сознание этого прибавляло оптимизма, и я с немного обновленной, очищенной от удручающего настроения душой возвращался — почти уже с энтузиазмом — к прерванному чтению трудного текста. Некоторые из особо любимых английских и немецких стихотворений я заучивал вместе с их русскими переводами (если находил таковые), что придавало этому дополнительный лингвообучающий смысл, ведь сопоставлять даже очень вольный перевод с оригиналом есть занятие весьма поучительное. Подытоживая краткое описание своих взаимоотношений с иностранной поэзией, должен признать, что настоящим знатоком и почитателем английского и немецкого ямба и хорей я так и не стал. Но все же некоторым достигнутым для себя «поэтическим эффектом» остался вполне доволен. Да и сейчас стараюсь не упустить возможности лишней раз прокрутить в памяти что-нибудь из своих уже, можно сказать, старых запасов либо иногда заучить и кое-что новенькое. Конечно, теперь я отношусь к запоминанию очередного стихотворения уже не как к учебному процессу, а как к удовлетворению одной из духовных потребностей, да и просто как к эстетически приятному моменту жизни. Хотя и при этом все равно стараюсь не игнорировать мудрую и вечную истину "*Live a century, learn a century*" («Век живи, век учись»).

Но не только живопись и поэзия благодаря их эмоциональности помогали мне лучше воспринимать иностранный язык. Стихию красок и поэтических образов я с удовольствием дополнял и миром звуков — музыкой. Хотя музыка, в отличие от живописи и стихов, и не являлась непосредственным поставщиком информации в мою

память, она оказывала мне неоценимую услугу по части приобщения к таким понятиям — важным для человека, изучающего язык, — как мелодия, ритм, гармония и даже... тишина. Конечно, гармонию как согласованность и соразмерность элементов системы можно познать и использовать и при изучении, скажем, математики, но все же для нас, изучающих иностранный язык, желательнее, чтобы ощущение гармонии было связано прежде всего с миром звуков. И музыка предоставляет для этого идеальную возможность. Я, кстати, начал все лучше это понимать именно по ходу изучения языка. Ведь музыка — это, по сути, та же информация для нашего мозга, что и язык, хотя и особого рода. Благозвучие в музыке, так же как, например, благолепие в скульптуре и архитектуре, приучает нас чувствовать и ценить гармонично аранжированную информацию и в других искусствах и науках, в том числе и в лингвистике. Известно, что даже самое маленькое предложение из 2-3 слов в любом языке имеет свою музыкальную окраску, свои мелодию и ритм, не говоря уже о гармонии грамматического построения.

И значит, музыкой речи не стоит пренебрегать, напротив, присутствие гармонии в звуках языка надо учиться распознавать и ощущать так же, как и в звуках музыки. Важно уяснить, что музыка — при серьезном к ней отношении — может реально простимулировать и языковые способности, даже если и в незаметном сразу качестве.

И вот когда я сам начал тогда все это постепенно осознавать, я и стал целеустремленно искать поводы и возможности почаще слушать музыку. Но не просто слушать как звуковой фон с машинальным отбиванием «железного» ритма пяткой левой ноги, а вслушиваться, внедряться в нее, переживать ее, воспринимать ее как своеобразную и чарующую эмоциональную информацию, не исключаящую, впрочем, и пульсации ритма. Такое глубинно-интенсивное восприятие музыки лучше всего происходило у меня на шедеврах классики. Я начал — наряду с музеями — активно посещать и концерты, сделался почти завсегдатаем залов филармонии, капеллы, консерватории и прочих уютных мест. Я и раньше был не чужд музыкальных радостей, теперь же я стал поистине купаться в океане великолепных созвучий. Погрузившись в кресло где-нибудь в партере, а чаще на балконе и едва заметив первый взмах палочки дирижера, я закрывал глаза и уходил в себя, точнее, весь обращался в слух, приступая к «расшифровке» пленительной звуковой информации.

Сперва я предпочитал слушать отдельных исполнителей или небольшие по составу оркестры — за всеми их модуляциями легче было уследить. В музыке, как и в стихах, я поначалу уделял больше внимания не столько содержательной стороне, сколько формальной: я вслушивался в звучание и пытался определить, какие инструменты солируют или ведут параллельные партии в каждый данный момент. И постепенно все эти гобои и фаготы, кларнеты и флейты, я уж не говорю про смычковые и медные духовые, зазвучали для меня не сплошным и почти неразборчивым потоком звуков, как раньше, а вполне индивидуально, выпукло, колоритно. Но это было на первом этапе. На следующем же меня интересовало уже не распознавание различных инструментов и их мелодических «высказываний» (это, в общем-то, не требовало больших усилий от слуха), а более глубокое проникновение в гармонические нюансы самой музыки. Я открывал для себя все более сложные структуры музыкального языка, приобщался ко все более утонченному музыкальному миру. Сотни и тысячи звуков большого оркестра теперь уже, наоборот, я мог объединить в своем сознании в единые музыкальные вибрации, с каждым разом (с нарастанием моего слушательского опыта) представлявшиеся мне все более божественными по какой-то их вселенской красоте и силе.

Но вкушая все это великолепие, я в то же время старался не забывать, что главная моя цель — и иногда я даже едва ли не жалел об этом — все-таки не музыка, а изучение языка. Поэтому я неуклонно продолжал все шире раздвигать пределы своего звукового восприятия — в смысле его качества. Довольно скоро я мог уже различать игру разных исполнителей как по их музыкальному почерку, так и по накалу их страсти, вложенной в музыку, по всей их эмоциональной выкладке, улавливал и особенности стиля работы некоторых дирижеров. При этом я старался не залезать в музыкальные дебри, я просто боялся это делать, понимая, что даже если самая популярная классическая музыка меня настолько пленяла, то куда же дальше? Ведь я уже считал пропавшим день, в который не удалось послушать, хотя бы в записи, к примеру, Пятый фортепианный концерт Бетховена или что-нибудь из его сонат, Первый фортепианный концерт Шопена или некоторые его вальсы, Второй концерт Рахманинова или «Картинки с выставки» Мусоргского, *“Liebestraum”* Листа или «Венгерские танцы» Брамса и «Славянские танцы» Дворжака, я уж не говорю про нептунобожественную «Шехерезаду» Рим-ского-Корсакова, про многие недосыгаемо гениальные шедевры Чайковского и, разумеется, про само чистейшее воплощение гармонии в ее первоизданном виде — произведения И. С. Баха.

Интересно, что раньше некоторые из этих произведений, как и многие другие, не оказывали на меня большого впечатления. Но, очевидно, здесь также сыграл свою благородную роль уже упоминаемый выше эффект пристального вслушивания, всматривания, созерцания и размышления, то есть активного и многократного внедрения в информацию всеми мыслями и чувствами. Например, те же «Картинки с выставки» Мусоргского я до того времени почти не воспринимал, был к ним безразличен. Теперь же эти неброские и очень русские по духу, по своей парадоксальности «Картинки» во всем их напряженно-тоскливом и одновременно каком-то запредельном сладостно-завораживающем звучании — особенно в исполнении оркестра — сделались для меня ярким образом и отражением всей нашей, в том числе и современной, российской действительности. Конечно, я прочувствовал и полюбил «Картинки» не столько за этот их «социальный» подтекст, сколько за их музыкальное очарование, за ту неуловимую звуковую терпкость, которая вызывает царапающие по душе ощущения, вызывает состояния, которые обычно испытываешь, лишь пребывая на границе, на стыке светлого и темного, сладкого и горького, познаваемого и непознаваемого.

Да, все эти эмоции и состояния были интересны и поучительны, все это приподымало завесу над — во многом еще загадочным для меня и блистающим где-то высоко, как солнце в зените, — миром большой музыки. Но вот наступил момент, когда я должен был признаться самому себе: музыка оказалась для меня слишком соблазнительна и завлекательна — она поглощала целиком. Я же на данном этапе не мог позволить себе все выше и выше воспарять в ее манящие сферы. Значит, надо было брать себя в руки и ограничивать свои

музыкальные потребности. К счастью, это удалось сделать почти безболезненно — вероятно, во многом потому, что музыка при всей ее ослепительности была все же не единственным «солнцем» в моей жизни. Я стал теперь меньше слушать, довольствуясь лишь самыми излюбленными пьесами и в небольших дозах. Но и в дальнейшем, наслаждаясь музыкой пореже и намеренно воспринимая ее как бы немного хладнокровнее, я по-прежнему и уже почти автоматически продолжал отмечать наиболее для себя необычные и полезные детали исполнения. Так, я заметил, что большое значение в музыке имеет тишина, точнее, наша способность воспринимать тишину. Ведь если, к примеру, общеизвестно, что в белом цвете потенциально заключен весь цветовой спектр, то также можно сказать, что и в тишине как бы сокрыты все звуки мира. Тишина, если угодно, чревата всем многообразием звуков. Поэтому, на мой взгляд, пытаться внимательно и чутко слушать тишину — и не только в музыке — занятие бесполезное. Замереть на какое-то время и постараться услышать те исчезающе-слабые звуки, которые обычно остаются нерасслышанными, так как они хотя и воспринимаются нами, но не регистрируются сознанием, — это важно не только для развития тонкого и цепкого слуха, который и сам по себе необходим для изучающего язык, но это полезно и потому, что мы при этом приучаем себя сосредоточиваться на тех объектах и той информации, которые из-за их слабости и невразумительности, как правило, не вызывают нашего внимания и интереса, мимо которых мы равнодушно проходим. Тренировать свой слух в этом направлении особенно полезно в наш чересчур громкий и довольно грубоватый век. И тем более полезно для некоторых современных молодых людей, для которых зачастую именно громкость исполнения мелодии или песни составляет едва ли не основное их преимущество.

А те роскошные пианиссимо (*pianissimo* — крайне тихо, *итал.*), которые в музыкальных произведениях, особенно классических, незаметно переходят в полную тишину, но в тишину, как бы еще звучащую в сознании, в тишину, в которой спрессованы чувства и мысли, то есть в тишину, несущую заряд реальной духовности, а следовательно, и не в тишину вовсе, а в некий просто не слышимый нами в данный момент сгусток музыкально-интеллектуальной информации, — так вот эти роскошные пианиссимо, особо гениально сработанные в опусах великих композиторов-кудесников XVIII и XIX веков, вызывают к нашей как слуховой, так и духовной тонкости, к умению не только слушать, но и слышать, к умению чувствовать и понимать. А эта желанная духовная тонкость, утонченность, к которой все или, во всяком случае, многие из нас так или иначе, явно или хотя бы подсознательно, но стремятся, эта наша желанная способность проникнуть в тайные сферы информации — на первый взгляд невидимой или неслышимой — и является одной из самых полезных способностей, влекущей нас к любому творчеству, в том числе и к изучению иностранного языка. Ведь творчество в любом деле начинается там, где кончаются грубость, толстокожесть, равнодушие к тонким и нежным духовным ощущениям.

Но музыка учила меня находить смысл и гармонию не только в звуках, растворяющихся в тишине, как и в собственно тишине, но и в самых обычных паузах между звуками. Постепенно я осознал, что даже самые рядовые и незначительные паузы — между окончанием одной музыкальной фразы и началом другой — я должен активно использовать для мгновенной обработки только что полученной музыкальной информации и не менее мгновенной попытки предчувствовать, предугадать последующую — чтобы настроиться на нее. Я понял, что надо учиться использовать паузы для максимального полного извлечения скрытой в них (точнее, во мне же самом, в моем интеллекте, в моей фантазии) информации. Из музыки я перенес это понимание и на язык. Так, при прослушивании радиопередач на английском я пытался в течение каждой, даже самой небольшой, паузы проникнуть как можно глубже в смысл излагаемой информации, чтобы с окончанием паузы быть немного лучше готовым к дальнейшему восприятию. Этот процесс не позволял отвлекаться ни на мгновение, он требовал крайнего сосредоточения и изрядных волевых усилий, но зато и отдача от него была соответствующая. Кроме того, я теперь чисто по-музыкальному — как слушатель в концертном зале — старался вслушиваться в каждый нюанс тембра иноязычного диктора, в каждое повышение или понижение его голоса, в каждый оттенок звучания того или иного слова. В результате у меня даже появились любимые дикторы, которых я сразу узнавал по их бархатным, четким голосам и несуетливой манере изложения.

Итак, музыка (как живопись, стихи и пр.) также помогла мне, даже скорее, косвенно, чем напрямую, найти в чем-то своеобразные, несколько более творческие подходы к иностранному языку. Ах, если бы я понимал и умел все это тогда, в детстве-юности, когда впервые приступал к изучению языка! В этой связи мне вспоминается небольшая, но характерный эпизод из школьных лет. В восьмом классе на одном из уроков иностранного языка учительница вызвала меня, дабы проверить мои текущие познания в английском. Не помню, то ли я должен был пересказать заданный на дом текст, то ли ответить на вопросы. Зато я хорошо запомнил эффект своего скромного «выступления». Сначала все шло как обычно: я отвечал, учительница терпеливо слушала. Отвечал я, кажется, тоже «как обычно» — в основном невпопад и не сильно задумываясь над слетающими с языка, как сухие листья с дерева, ошибками. Но вот настал момент, когда эта почти идиллия прервалась: то ли я уж слишком что-то «сморозил», построив английскую фразу поперек всякой грамматики, то ли вообще учительница не смогла уже более выносить глумления над своим предметом, но она меня остановила и попросила повторить последнее предложение правильно. Я этого сделать не смог. Она попросила меня грамматически обосновать данное предложение. Я этого сделать тем более не смог. Тогда она объяснила все сама и вновь попросила меня построить аналогичное предложение в соответствии с только что изложенными ею правилами. Увы, я опять-таки опростоволохился. И вот тогда-то бедная учительница, исчерпав, по-видимому, не только весь дневной лимит своих нервных ресурсов, но и свой багаж всяких логическо-грамматических доводов, не вынесших лобового столкновения с моим как-об-стенку-гороховым восприятием, в отчаянии бросила мне (я до сих пор помню страдальчески искаженное выражение ее лица) свой последний аргумент: «Но ведь это просто не по-английски! Ведь это даже не звучит!» О, как мы (я и несколько «сочувствовавших» мне товарищей) потешались и ехидничали тогда между собой по поводу этой, как нам казалось, более чем странной «заявки» учительницы. Фразу «Ведь это даже не звучит!» мы еще долго потом со смехом употребляли в разных ситуациях, даже на уроках математики и физики, не говоря уже о гуманитарных предметах. В наших веселых головах, в которых, очевидно, функционировало, да и то не слишком энергично, только одно левое



(«логическое») полушарие, никак не укладывалась мысль о том, что не всякую истину можно познать исключительно рассудочно-логическим путем. И лишь много позже я понял, насколько права была тогда моя учительница, попытавшаяся — хотя почти случайно и «в сердцах» — донести до моего сведения мысль, что язык надо не только понимать, но и чувствовать, что даже «алгебру» языка — его грамматику — надо дополнять ощущением его гармонии, его музыки.

Помимо того приятного опыта и тех щедрых и полезных намеков, которые давала мне музыка в отношении иностранного языка, я периодически получал от нее и вполне «осязаемую» пользу, которую можно было даже выразить в конкретных цифрах. Дело в том, что музыка определенного типа (Баха, Генделя, Вивальди и других представителей музыкального барокко, а также такого столпа венской классики, как Моцарт) реально стимулирует деятельность мозга. Спокойно-убаюкивающие мелодии этого музыкального стиля так воздействуют на левое и правое полушария, что они начинают работать более синхронно и потому более творчески-продуктивно. Мозг при этом по своей биоэлектрической активности пребывает в так называемом «альфа-состоянии», которое и гармонизирует его функции, повышает его рабочий потенциал. Проведенные психологами эксперименты показали, что в результате 10-минутного прослушивания музыки барокко или ряда произведений Моцарта (особенно его сонат) у человека в среднем на 25% возрастают на некоторое время (на 10-15 минут) такие важные показатели интеллекта, как скорость восприятия и качество усвоения информации. Конечно, эта прибавка недолговечна и не слишком впечатляюще велика, но зато легкодоступна и, как я убедился уже на собственном опыте (хотя и без всяких экспериментов, а лишь «на глазок»), вполне ощутима. Однако при всем этом должен заметить, что я использовал такой способ стимуляции мозга не очень часто. Сам факт как бы чисто технического, утилитарного применения музыки в целях активизации работы мозга казался мне в чем-то кощунственным. Я прибегал к нему лишь в тех случаях, когда чувствовал себя явно перевозбужденным или внутренне несобранным и, значит, не готовым к сосредоточенной умственной работе. Кроме того, я рассматривал свои погружения в такого типа музыку не столько как приобщение к великому и прекрасному (должен признаться, что музыка Моцарта и Вивальди почему-то не прижилась в моей душе и, за редкими исключениями, оставляла меня равнодушным), сколько как к гарантированной «скорой помощи», которая всегда выручит в трудный момент и хотя и не заменит собственных волевых и духовных усилий, но все же внесет свою лепту в дело интеллектуальной организации и подзарядки. Даже если и лишь на 10-15 минут — ведь это только как бы мягкий импульс, физиологическая настройка для дальнейшего и уже самостоятельного включения в работу.

И все-таки гораздо чаще я предпочитал настраивать себя на рабочий лад с помощью романтической, бередящей душу музыки Бетховена и Вагнера, Глинки и Прокофьева, Грига и Гершвина. Да, их музыка, скорее, возбуждала меня, чем успокаивала, но она и вдохновляла «на подвиги», она призывала брать на себя «повышенные обязательства», она ярким факелом освещала закоулки души, где прятались неуверенность в своих силах, сомнения и страхи, и выжигала их оттуда или во всяком случае не давала им чувствовать там себя слишком вольготно.

В заключение ко всему этому музыкальному сюжету хочу сказать, как, может быть, ни странно это прозвучит: у меня сложилось такое впечатление, что ни живопись, ни поэзия, ни какие-то другие пути более или менее прямого и непосредственного приобщения к иностранному языку не стали для меня в итоге столь духовно мощным и пленительным средством воздействия на мои сердце и голову — в целях того же изучения языка, — как столь не прямое и даже вовсе абстрактное средство, каковым сделалась для меня музыка, любимая музыка. Но, в сущности, ничего странного здесь и нет. Ведь *"Music is the universal language of the world"* («Музыка есть универсальный язык мира»), как сказал Лонгфелло. И, значит, если мы сознательно и с любовью приобщаемся к этому универсальному языку, то и познание любого другого языка — словесного — станет для нас легче, радостнее и плодотворнее.

Теперь от высоких и романтических вещей хочу вернуться к более прозаическим, а именно: к самой прозе, к тексту. Поскольку в этой главе речь идет о различных приемах, помогающих запоминанию иноязычной информации, я не могу не упомянуть здесь еще ряд деталей касательно моих взаимоотношений с текстами — книгами, журналами, газетами — отношений, скорее, внешних и потому, казалось бы, не имеющих большого значения, но все же сыгравших в процессе моего изучения обоих языков немалую роль.

Начну с того, что еще с ранних школьных лет я был приучен с пиететом относиться к любому печатному изданию: к своему ли, чужому ли, к учебнику или задачнику — исключений не было. Что-нибудь подчеркнуть в книге или — упаси бог — нарисовать там человечка — этого, за очень редкими случаями, я себе позволить не мог. Такой аккуратизм, правда, больше мешал мне: в той же учебе, например, сковывал мои «творческие» возможности при чтении учебников и запоминании нового материала. Но привычка эта, каким-то чудом хорошо внедренная в мое подсознание родителями и учителями, держалась стойко. И вот с таким-то «пуританским» отношением к книге я приступил к изучению языка (имею в виду не школьный период, а уже нынешний). Но здесь я вскоре и понял, что «белые перчатки», фигурально выражаясь, все-таки придется снять, что без собственноручных пометок на страницах иноязычного текста, без подчеркиваний и других видимых чернильно-карандашных знаков своего интенсивно-личностного внедрения в текст я просто не смогу извлечь из него необходимую информацию, точнее, извлечь-то смогу, но как следует обработать ее и запомнить — едва ли. И тогда я стал использовать карандаш (а иногда и ручку, и далее фломастер) как продолжение своих глаз и своих мыслей. На первых порах, как это часто случается, я из одной крайности ударился в другую. Я теперь передоверил карандашу все основные заботы если не по восприятию нового материала, то по его организации и укладыванию «на полочках» памяти.

Итак, что же я делал, и притом особенно усиленно, со своими самыми многострадальными первыми книгами на иностранных языках, на которые, честно признаться, потом и сам смотрел с искренним сочувствием?

1. Писал на полях — сверху, сбоку, снизу (либо иностранное слово вместе с переводом, либо только его перевод со стрелкой к слову в тексте).

2. Писал между строк и между абзацев, стараясь это делать бисерным почерком и максимально сокращенно.

3. Трудные для усвоения слова подчеркивал.

4. Особо трудные слова и словосочетания обводил, то есть заключал их в рамочку.

5. Кое-что выписывал на первые и последние обложечные страницы книги (то, что как-то «задело», понравилось или что считал полезным в языковом отношении: обиходные словечки и фразы, сленговые выражения и афоризмы, синонимы и антонимы и др.).

6. Наконец, просто ставил на полях «птички» или *N. B.* («*Nota bene*», «заметьхорошо» —лат.).

Конечно, все это «бумагомарание» или даже «бумаговредительство» (о чем еще скажу ниже) я позволял себе проделывать только на изданиях недорогих, не входящих в собрания сочинений тех или иных классиков, и, главное, на своих собственных, а не на чужих или библиотечных. Некоторым моральным самооправданием для меня служил тот факт, что книги я столь нещадно эксплуатирую в самых благих целях — для обучения и познания. А ради этого не грех и «потерзать» их, выжать из них все соки — они же пойдут только на пользу. Ведь, к примеру, музыкант при необходимости не стесняется выжимать из своего инструмента всю его мощь, все его звуковые возможности, хотя быдаст, что при этом и струны рвутся. Так отчего же я должен стесняться по-настоящему, «на всю катушку» использовать мои инструменты — мои книги? Подобные самоуговоры сыграли свою роль: я стал все более раскованно общаться с печатной продукцией.

Но, пожалуй, верхом моего «препараторского» отношения к ней явилось то, что я начал применять не только карандаши и ручки, но и... ножницы. Нет, книги я, конечно, не кромсал, но журналы и газеты — довольно часто. Я стал это делать, сообразуясь с одной особенностью своего восприятия. Как-то из практики чтения я подметил, что журнальная или газетная статья (на иностранном языке) кажется мне более привлекательной, читается охотнее и активнее в том случае, если я держу ее в руках как отдельную от других, самостоятельную единицу информации. Не знаю, чем объяснить такой эффект. Вероятно, здесь сказывался мой затаенный страх перед беспредельным океаном газетно-журнальных текстов. Ведь когда я видел перед собой толстые английские или немецкие журналы или «упитанные», в десятки страниц, газеты, в которые можно, наверно, завернуться, как в рулон обоев, и без посторонней помощи оттуда уже не выбраться, то у меня и возникал произвольно этот страх. Я не мог себе представить, как же мне все это прочитать, да и с чего начинать-то: с самого важного или самого интересного (и как это распознать, если еще плохо знаешь язык), с самого легкого или самого трудного.

Вот тогда меня и стали выручать хорошие, большие ножницы: я почти наугад выкраивал из журнала или газеты несколько статей, которые более или менее соответствовали моим вкусам и языковым возможностям на данном уровне. Перед этими вырезанными статьями я уже не испытывал особого страха — ведь они теперь представляли собой конкретные и ограниченные по объему тексты, с которыми даже в бытовом отношении было удобно иметь дело: их можно было компактно сложить, сунуть в карман, взять с собой, наконец, их можно было читать в любой позе — сидя, стоя, лежа (что, кстати, тоже немаловажно при нашем напряженном образе жизни). С толстыми же иностранными журналами, и особенно газетами, все это было просто нереально: тяжелые и лощено-глянцевые, они так и норовили выскользнуть из рук, что для человека, который еще «со скрипом» ползет робким взглядом по строкам иноязычного текста, составляет изрядное неудобство. Еще одно преимущество своих вырезок я видел в том, что их можно было легко хранить в какой-нибудь папке или стареньком портфеле. Но хранить не как макулатуру или устаревшие документы и квитанции, а как ценнейший материал для периодического повторения. Я понимал, что единожды прочтенная, даже хорошо прочтенная статья — это лишь полдела, что понастоящему она будет усвоена в языковом отношении только после нескольких возвращений к ней в течение, скажем, двух-трех недель, что я и старался проделывать. Правда, багаж газетно-журнальных вырезок лавинообразно накапливался в моих хранилищах — я выписывал несколько изданий и кое-что прикупал. Поэтому со временем я стал относиться к ним более избирательно, придерживаясь правила: лучше три раза проработать один текст, чем по одному разу — три текста. И, как мне кажется, во многом именно этому правилу, как и всему своему} подходу к газетно-журнальному материалу, я должен быть благодарен за довольно активное приобщение к современной английской и немецкой лексике по самым разным темам: от политики до спорта, от науки до искусства. Чего, например, даже при помощи чтения хороших и толстых романов за относительно недолгое время достичь было бы невозможно.

Кстати, несколько слов о моем чтении романов и вообще любых книг на иностранном языке, и особенно о начале чтения каждой книги. Известно, что самое трудное — сделать первый шаг. Я много раз убеждался в этом, когда приступал к чтению очередной книги. Часто уже на первой или второй странице я ощущал потерю всякой своей как лингвистической, так и волевой «боееспособности». На первых порах это нередко заканчивалось неудачей: я чувствовал себя в тупике и, не долго думая, закрывал книгу, полагая, что если она мне еще не по силам, то нечего и копыя ломать. Со временем я научился преодолевать такого рода тупики и такого типа состояния души с помощью сначала одного, а затем и второго способа. О первом из них я уже говорил в начале книги (это чисто императивно-волевой способ в духе Н. Морозова). Теперь же хочу рассказать о втором. Обнаружить его мне помог опять-таки случай.

Придя как-то домой изрядно уставшим, я прилег вскоре на диван, но, поскольку спать было еще рано, решил немного почитать. Не глядя, протянул руку к стоявшему рядом столику, на котором у меня обычно громоздились книги на английском. Одна из книг упала, и довольно неудачно: несколько страниц в ее середине помялись почти до излома. Я отругал себя за небрежность и стал разглаживать страницы. При этом взгляд невольно скользнул по одной из них и выхватил оттуда ряд слов, кажется, что-то вроде: *"The car with Julia hang up on the gap"* («Машина с Джулией зависла над пропастью»). Естественно, после такого пассажа (к тому же хотя и на английском, но мною вполне понятного) я не мог уже оторваться от текста и прочел несколько страниц залпом, тем более что продолжение эпизода с пропастью и Джулией оказалось весьма захватывающим. Причем прочел почти без затруднений, хотя проза была не самая легкая: смесь любовной истории с психологическим

детективом. Но когда мой азарт иссяк и я взглянул на обложку — что же это я там такое занятное читаю-то? — мое изумление было неслабым: ба! да я же на прошлой неделе отложил эту книгу, показавшуюся мне уже с первых страниц слишком трудной, до лучших, как говорится, времен. А теперь выясняется, что книга-то вполне «читабельная». Стоп! А не следует ли отсюда... Мысли запрыгали в голове, как теннисные мячи на корте. Догадку надо было проверить. Я открыл эту же книгу наугад в другом месте и стал читать. Затем еще в одном, ближе к концу, — тоже прочел и тоже почти все понял. Наконец ту же операцию — выборочное чтение наугад — я проделал и с другой книгой, также недавно отложенной из-за ее якобы недоступности для моего понимания. И с тем же благоприятным и вдохновляющим результатом. Догадка подтвердилась. Я понял, что нашел неплохой для себя прием безбоязненного и, так сказать, «вкрадчиво-интенсивного» внедрения в литературу почти любой сложности. Оказывается, трудную для себя книгу на иностранном языке желательно начинать читать не с начала, а где-то с середины или, по крайней мере, не ранее чем с 10-20-й страницы — именно к этому моменту (если это достаточно солидный роман) позади уже остаются все вводные авторские разъяснения и первые лирические отступления и начинается раскрытие собственно сюжета. А сюжет, если он к тому же более-менее динамичный, читается уже куда как легче и веселее даже человеком, который еще полчаса назад смотрел на обложку этого романа едва ли не с ужасом. Разумеется, внедрившись в сюжет как бы с тыла, «по-партизански», и дав ему прочно завладеть своим воображением, я уже мог затем спокойно вернуться к первой странице и начать читать книгу сначала, не опасаясь, как раньше, захлебнуться на первых же туманных или слишком отвлеченно-глубокомысленных авторских рассуждениях — ведь я уже крепко держался за спасательный круг заинтриговавшего меня сюжета (именно заинтриговавшего, так как я хоть и наугад, хоть и отчасти, но неизбежно подключался к животрепещущей сюжетной интриге). Я уже знал, что трудное начало — это всего лишь начало, и его, в крайнем случае, можно для начала просто проигнорировать. Главное — зацепиться за ниточку сюжета, попробовать книгу как бы «на зуб», причем в разных ее местах, вернуться же к началу никогда не поздно.

Вот так моя случайная небрежность по отношению к книге привела к обнаружению нехитрого, но довольно эффективного для меня способа, который в дальнейшем я практиковал при начале чтения едва ли не каждой второй книги на иностранном языке. Очередной психологический барьер был взят.

Завершая рассказ о своих подходах к восприятию и запоминанию иностранных слов и текстов, хочу сказать о некоторой искусственности, даже ложности довольно распространенной точки зрения на якобы непреодолимую зависимость успеха изучения иностранного языка от памяти. Многие полагают, что приступать к изучению языка лучше всего, имея хорошую память. По идее, это правильно. Но в жизни такое бывает нечасто, а значит, опять мы имеем лишь благое пожелание. Однако это как раз тот *a vicious circle* (замкнутый, порочный круг), из которого нельзя выйти путем благих пожеланий, его можно лишь разорвать. Причем эту связку — «память — язык» — надо разрывать на участке «язык», то есть надо начинать учить язык, невзирая на память, даже на плохую память. И лишь в этом случае даже плохой памяти ничего другого не останется, как только постепенно улучшаться. По-моему, это столь же очевидно, как и то, что нет памяти вообще, есть лишь память на ту или иную конкретную информацию, и, более того, наша память очень сильно зависит от нашего отношения к этой самой информации.

В свое время, когда я прочно осознал эти истины, изучение иностранного языка сделалось для меня еще более приятным и результативным занятием.

Из крупных проблем в тот период передо мной пока еще оставалась возвышаться лишь одна — в виде крайне неприступного и самого всегда неудобного для всех моих прежних атак на него, какого-то поистине заколдованного бастиона (несомненно, и расположенного-то где-то там — в мрачном Кашеевом царстве), на черном знамени которого самоуверенно и вызывающе красовалось одно, но роковое для человека слово - *Time* (время).

## Глава 5 ГДЕ Я НАШЕЛ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. МОЯ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

*I recommend you to take care of the minutes:  
for hours will take care of themselves.*

*Я рекомендую вам заботиться о минутах:  
часы сами позаботятся о себе  
Честерфилд*

Вот и наступил черед последней главы, но — и я могу это сказать без всякой натяжки — сведения и приемы, которые будут в ней изложены, стали для меня в свое время одними из первейших по своей эффективности в процессе самообучения иностранному языку. Пришел же я к ним тогда, несмотря на всю их простоту и доступность, путем довольно кружным, ведь дело пришлось иметь с вопросом, наверное, самым сложным и для любого-то человека, но особенно для человека обучающегося, — с Его Величеством ВРЕМЕНЕМ.

Где и как раздобыть немного «лишнего» времени, если его катастрофически не хватает в принципе? Да и как с ним вообще обращаться, если оно невидимо и неслышимо, но при этом стремительно и абсолютно необратимо? Как научиться выкраивать из своего ежедневного тайм-бюджета хотя бы час-другой для изучения языка? Такие вопросы стали занимать меня с каждым днем все больше с тех пор, как я серьезно взялся за английский.

Поначалу я задумал подойти и к решению этих вопросов как всегда радикально. Если мне не хватает времени на полнокровное изучение языка, рассуждал я, значит, я просто много сплю и совершаю много всяких других лишних действий. Значит, надо сократить свои физические и житейские потребности, может быть, даже перейти

на спартанский образ жизни или хоть кое в чем брать пример с некоторых непритязательных к бытовым проблемам личностей, вроде йогов или монахов-отшельников.

И вот я стал почти во всем, что мне показалось в моей жизни лишним и избыточным, резко себя ограничивать: меньше спать, быстрее управляться с пищей, вовсе отказался от некоторых развлечений (например, от телевизора, от систематических уличных прогулок, которые всегда шли мне только на пользу, и так далее). И вскоре мне уже стало казаться, что наконец-то я зажил настоящей жизнью очень целеустремленного и активного человека и теперь-то уж у меня все пойдет как по маслу. Увы. Слаб человек. К вящему моему огорчению, всех этих усилий хватило ненадолго. Через некоторое время неестественно, слишком волевым путем сжатая пружина моей жизни, моих потребностей и привычек круто распрямилась, больно ударив по моему самоуважению, а главное — по самонадеянному желанию одним махом и прямолинейно решить эту труднейшую проблему, расколоть этот *hard nut to crack* (крепкий орешек). Короче говоря, мой железный режим так по-настоящему и не заработал, точнее, я его просто не выдержал.

И что же было теперь делать? Отступить от своей заветной мечты совладать со временем, пустить опять все на самотек, пойти на поводу своего привычного образа жизни, своего традиционно-неэффективного времяпользования? Но это означало, что мои планы самостоятельного и интенсивного овладения одним и тем более двумя языками практически превращались в полную иллюзию, даже при некоторых моих методических находках в технике изучения языков. Нет, этого я себе позволить не мог. Значит, надо было опять искать выход — нащупывать более тонкие и приемлемые для себя подходы к тому, чтобы *the fourth dimension* (четвертое измерение), то есть время, все-таки сделать своим союзником. Хотя бы лишь для решения одной конкретной задачи.

Как уже повелось, после каждой очередной моей осечки я решил и по этому вопросу начать поиски выхода «немного издалека». Стал читать на эту тему литературу, узнал много интересного и о хронодинамике, и о гипотезе космического времени астронома Н. Козырева, и о прозрениях авиаконструктора Р. Бартини и поэта Велимира Хлебникова, и о времени «закручивающемся» и времени «перпендикулярном», наконец, о времени как бы остановившемся — для человека, оказавшегося в сильной стрессовой ситуации.

Однако все это имело пока не слишком прямое отношение к моей вполне приземленной задаче. Реальный же толчок для размышлений в практической плоскости дала книга Д. Гранина «Эта странная жизнь» — об удивительном человеке, ученом-математике и биологе А. А. Любищеве (1890-1972). Этот человек поразил меня своим необычайно оригинальным, можно сказать фанатичным, отношением ко времени, к собственному времени. На протяжении многих десятков лет (начиная с 26-летнего возраста и до последнего дня жизни) он ежедневно пунктуальнейшим образом вел дневник учета своего времени. Каждый час, каждая его минута были им «подшиты к делу», то есть зафиксированы в дневнике на предмет последующего подсчета, обобщения и заключения о результативности их использования в течение недели, месяца, года. Такая система учета позволяла Любищеву не только тщательно отслеживать все свое рабочее и нерабочее время, но и очень продуктивно управлять им. Для него не существовало «плохого», «пустого» или «лишнего» времени. Он научился использовать «время внутри времени» или «отбросы времени», кроме того, он детально планировал и будущее время на месяцы и годы вперед. Эта система была не просто вспомогательным, хотя и мощным, инструментом в руках своего хозяина, но она реально и активно стимулировала как его научную работу (которая, кстати, год от года усиливалась независимо от возраста и даже вопреки ему), так и вообще всю его жизнь. Любищев, можно сказать, жил временем, дышал временем. Вообще я бы охарактеризовал всю его жизнь как своеобразный организационный подвиг, подвиг в благородном и сложнейшем деле организации самого себя, своего существования.

И вот, вдохновленный и окрыленный примером уникального профессора, я решил, что теперь-то уж точно нашел ключ к своей проблеме. Бери только, как говорится, и пользуйся. И я не стал долго размышлять и сомневаться. Взял и попользовался... пять дней. Или шесть. Больше не смог. Да, как это ни грустно признать, но на большее я и здесь оказался не способен. Характер ли у меня не такой упрямый и педантичный, как у Любищева, условия ли и ритм жизни другие, или еще что-то — не знаю, да и не об этом речь. Главное же, что на этот раз, несмотря на весь свой первоначальный порыв, я быстро понял, что и эта система в полном ее объеме не для меня.

Ну что же, — стал я себя уже привычным образом успокаивать, — надо поскорее *to take oneself in hand* (взять себя в руки) и перенести и эту неудачу философски. Да и ведь сколько было ученых и просто мудрых людей, рассуждал я, которые неплохо обходились без всяких систем учета времени. Любищев же фактически сделался заложником и в какой-то степени даже рабом собственной системы, она с годами уже сама по себе стала идолом, самоцелью и смыслом его жизни, как это нередко и бывает со всем тем, к чему человек сильно привязывается. Я же вовсе не хочу стать уникальным соловьем в золотой клетке, в клетке времени. Лучше быть простой птицей, но вольной.

И все-таки, все-таки... Несмотря на все мои попытки теперь уже развенчать систему Любищева в собственных глазах — дабы самому не так обидно было, — сомнения не оставляли меня, надежда на что-то еще теплилась. И, к счастью, действительно, я и здесь вскоре пришел к выводу, что все-таки не должен полностью отвергать эту систему, а как и в подобных предыдущих случаях с Морозовым, Шлиманом и другими моими идейными вдохновителями должен взять из нее кое-что ценное, приспособив это к своим возможностям. Например, уважительное и трепетное отношение Любищева ко времени, рациональное его использование — это надо, безусловно, взять в свой актив. Какое-то сверхтонкое восприятие и экономное, на грани скарденности, расходование времени надо также попытаться освоить. Правда, здесь возвышал свой голос мой внутренний «пессимист»: а возможно ли такое частичное применение системы без ее «души», без главного элемента — ежедневного хронометража, строгого учета и отслеживания каждого, даже самого небольшого, промежутка времени? Не будет ли это равносильно попытке заставить взлететь самолет, предварительно изъяв из его корпуса двигатель? И тем не менее какое-то интуитивное *sixth sense* (шестое чувство) подсказывало мне, что и

«урезанная» система Любищева сможет поработать на меня. Надо лишь дать себе труд еще почитать и подумать на эту тему, и не исключено, что найдутся примеры и аргументы, подтверждающие и позицию моего внутреннего «оптимиста». И ведь нашлись!

Пожалуй, наиболее впечатляющим оказался вновь пример с С. Т. Рихтером. Этот великий музыкант, о котором я уже немного рассказывал, обладал, оказывается, не только талантом сверхглубокого образного восприятия художественной информации, но и необычайно тонким чувством времени и, главное, способностью рациональнейшим образом его регулировать. Вот три небольших отрывка из цитируемой ранее книги о Рихтере. Все они разрозненны, так как взяты из разных глав, но именно поэтому они еще более наглядно и объективно дают представление о рихтеровском отношении ко времени.

«Вошел в костел, повесил на спинку стула плащ, положил рядом неизменную свою кепку, открыл рояль, приладил на пюпитр часы, поставил на него ноты, убедился в том, что мы уходим, и вот уже мощно зазвучал нам вслед один из этюдов Шопена...

В 16 часов, как и договорились, вернулись за Святославом Теофиловичем в костел. Так хотелось послушать его игру и не обнаруживать своего присутствия. Но ровно в 16 часов маэстро обернулся и с удовлетворением констатировал, что мы на месте. Точность ценится высоко. Бывает очень больно смотреть, как, оказавшись жертвой чьей-нибудь необязательности, Святослав Теофилович печально сидит в своем плаще, с кепкой на коленях, с обреченным выражением лица».

«Святослав Теофилович играл "Ludiis tonalis" Хинде-мита. Он вышел и сказал, что будет заниматься еще 12 минут. Ровно через 12 минут закончил».

«Вечером Рихтер пошел в костел уже с Олегом — репетировать японскую программу. Они вышли в 20 часов 24 минуты. Святослав Теофилович сказал, что заниматься будут до 23 часов 24 минут. Так и было.»\* Не правда ли, эта почти нечеловеческая способность Рихтера столь пунктуально (с точностью до одной минуты) рассчитывать свое время кажется нам необъяснимой и загадочной? На меня, во всяком случае, такая его особенность — почти с микроскопической точностью вписываться в ход времени, чтобы подчинять его своей воле, а не самому подчиняться его стихии, — произвела поначалу шокирующее впечатление. Особенно когда я сравнил ее со своей привычкой разбрасываться временем направо и налево, начинать и заканчивать свои дела с точностью от получаса и до «как получится», назначать людям встречи с точностью от 15 минут и до «как удастся подъехать» и так далее. Я всегда чувствовал, что свойственная мне приблизительность и неопределенность во взаимоотношениях со временем постоянно тормозит и ослабляет любую мою работу, мои планы, а иногда и вообще срывает их.

Но, с другой стороны, этот пример меня и ободрил. Ведь он показал, что для эффективного использования времени совсем необязательно фанатично вести его ежедневный подсчет, как это делал профессор Любищев. Надо просто работать с полной выкладкой, забывая в этот святой момент про все остальное. Возможно, в этом и состоит разгадка парадоксального феномена сверхпродуктивного использования времени: чтобы не терять время, надо научиться о нем забывать.

И вот, столкнувшись теперь с очередным и столь зажигательным для себя примером, я окончательно как бы «проснулся», я понял, что дальше так дело не пойдет, что надо пересматривать свое слишком вольное (или лучше сказать — слабовольное) вре-мяиспользование, надо перенастраивать себя «по шкале Рихтера», надо учиться управлять временем, чтобы раньше или позже не оказаться безнадежно отставшим от него. *"Lost time is never found again"* («Потерянное время не вернешь»), — утверждает пословица, хотя и очень хотелось бы верить, что иногда все же можно *make up for lost time* (наверстать упущенное), если сильно захотеть.

Я пришел к выводу, что чем меньше единица времени (конечно, в разумных пределах), которой я измеряю и рассчитываю свою работу, тем с большей ответственностью я отношусь к этой работе, а значит, и получаю больший эффект. Поэтому именно такое — рихтеровское — отношение ко времени и, в частности, к минуте, как к хотя еще малой, но уже различимой в потоке времени единице, я и стал в дальнейшем исповедывать и использовать везде, где только было можно. Минута постепенно сделалась для меня любимой единицей отсчета, стала тем интервалом, который, с одной стороны, позволял максимально точно распределять свои усилия в любом деле, с другой стороны — неизменно держал меня в состоянии легкого — а иногда и не легкого, но полезного — напряжения по всему ходу какой-либо работы, не позволяя расслабляться и отлынивать от нее даже на короткое время.

Есть в нашем языке такие устойчивые словосочетания: «годы летят», «дни бегут», «часы идут». А вот минуты? Выходит, что они «ползут» или даже «стоят»? Но не будем строго подходить к странностям языка — он родился гораздо раньше логики. Минуты не ползут, к сожалению. Они несутся куда-то вечно второпях, но и без усталости, они не слышат наших заклинаний остановиться хоть на мгновение, потому что они сами и есть эти мгновения, проскальзывающие как невидимки мимо нашего восприятия и сквозь него. И вся поистине дьявольская коварность этих мгновений-минут, этих корпускулярных «единиц жизни» и состоит в их неразличимости и неуловимости — ведь их нельзя пощупать, как нельзя пощупать струю воды или тем более поток электронов. Но от этих-то «электронов времени» часто зависит в жизни больше, чем от их более крупнокалиберных соседей по временной шкале: все-таки часы и дни мы как-то регистрируем в сознании, в памяти, учитываем их, а вот минуты-мгновения... «свистят они, как пули у виска». А пулю за «оперение» не схватишь.

Но вот есть же люди, даже если их и немного, которые именно это и умудряются сделать. Как бы перенять у них эту способность?

Размышляя таким образом, я все глубже проникался мыслью, что нет у меня теперь другого пути, кроме как следовать примеру (хоть в чем-то) Любищева, Рихтера и им подобных в вопросах использования времени, и на этот раз мне уже ни в коем случае нельзя сорваться.

Для начала (для очередного начала!) я решил пересмотреть и изменить свое субъективное отношение ко времени. Оно у меня всегда было довольно зыбкое. Например, на вопрос «Который час?» я мог твердо ответить «9», хотя на моих часах было еще без трех-четырех, а то и без пяти минут «9», и при этом я не чувствовал себя

обманщиком, так как такое «либеральное» отношение ко времени, как к своему, так и к чужому, было для меня естественным. И вот теперь, напротив, я стал пытаться все более точно реагировать на каждую минуту и даже секунду, вызывая, наверно, у окружающих удивление уже противоположным качеством — гипертрофированно-пунктуальным отношением ко времени.

Я стал воспитывать в себе сияющую ощущение времени. Для этого, к примеру, я играл в такую игру: дома ли, на улице пытался сам, не глядя на часы, определить, сколько времени у меня заняло то или иное дело (чтение, обед, шахматная партия, разговор по телефону, посещение магазина и так далее). Я как бы установил в своей голове миниатюрный хронометр, который не мешал мне своим тиканьем и не требовал ежедневной заводки или периодической смены батареек. Он требовал лишь некоторой настройки и корректировки (причем с каждым днем все меньше), но главное — заинтересованного и чуткого к себе отношения.

Сначала мне удавалось с большей или меньшей точностью фиксировать лишь небольшие периоды — по 5, 10 или 15 минут, но постепенно такой неусыпный самоконтроль позволял мне все более точно воспринимать движение времени. Я уже мог, например, после 5-6-часовой загородной прогулки (куда я, кстати, часы с собой обычно не брал, чтобы хоть на природе не думать о них) по своему «внутреннему хронометру» определить время данного момента с 10-12-минутной точностью — проверял по часам на железнодорожной станции или у первого встречного. Это было уже кое-что!

Для чего же мне нужно было такое почти экстрасенсорное восприятие времени? Ответ очевиден: тот, кто умеет тонко чувствовать время, тот умеет и ценить его. И действительно, не прошло, кажется, и одного месяца, как мое отношение ко времени претерпело изменение в желанную сторону. Я его зауважал. Я теперь старался — и это удавалось все лучше — не транжирить его бездумно, не разбрасывать куда попало «щедрой» рукой — пригоршнями, как обесцененную монету. Ведь время, в отличие от денег, почти никогда не может сильно обесцениться. Здесь все зависит от нас. Вспомним опять Н. Морозова, который свое, казалось бы, напрочь обесцененное тюремное время смог «облагородить» столь высокопробным золотым содержанием, что оно стало для него поистине сверхдрагоценной валютой — спасительной для его жизни валютой.

Когда-то на Руси о бережливом человеке говорили: «У него каждая копейка гвоздем пририта». Чуть перефразируя это выражение, я мог бы теперь сказать о себе: «У меня каждая минута гвоздем пририта». На практике это привело еще и к тому, что мое новое отношение ко времени стало исподволь изменять в лучшую сторону и некоторые нелучшие черты моего характера (такие, как нерешительность и инертность). Раньше, к примеру, мне трудно было быстро «раскачаться» и начать что-то делать. Едва ли не *whole good hour* (битый час) мне иногда приходилось уговаривать самого себя, чтобы вплотную приступить к работе, особенно требующей творческого подхода, хотя бы к тому же иностранному языку. Вероятно, исподволь я просто боялся начала любого дела и потому правдами и неправдами стремился его оттянуть, отсрочить, быть может, в тайной надежде, что оно и без меня как-нибудь само собой решится или сделается, а может быть, и вовсе отпадет в нем необходимость. Разумеется, я сам себя обманывал при этом, воруя у себя же собственное время, ведь давно известно, что *"Procrastination is the thief of time"* («Откладывание — вор времени»). Еще философ и психолог Г. Гурджиев отмечал, что человек чаще всего сам не представляет, сколько драгоценного времени он тратит на все эти переходные состояния — от сна к бодрствованию, от ничегонеделания к работе и даже от одной работы к другой.

И вот я решил покончить и с этими нулевыми, пустопорожними состояниями своей жизни, которые к тому же, по мнению Гурджиева, в своей совокупности отнимают у человека психической энергии больше, чем даже собственно работа. Для этого я стал учиться входить в образ... магнита. Да, учиться ощущать себя таким мощным магнитом, который всегда притягивает к себе «осколки» времени, то есть время пустое, промежуточное, не заполненное по-настоящему ни работой, ни отдыхом. Оказалось, что в течение дня такого балластного времени набирается больше, чем можно себе представить даже при наличии хорошей фантазии. И что — в чем я впоследствии и убедился — периодически из этих «осколков» можно собирать довольно ценные изделия своей жизни (опять же, к примеру, изучить язык, да и не один). Конечно, образ магнита — это лишь метафора. Конкретно же в жизни я просто перестал «сорить временем». При каждой возможности я стал использовать для дела не то что 1 минуту, а и 30 и даже 10-15 секунд.

Я называл это также «эффектом последнего шанса». Название, как и сам «эффект», появились в моей практике не случайно — хотя опять-таки, где она, граница между «случайно» и «не случайно»? Предыстория их такова. Однажды, еще в юности, наблюдая по телевизору за хоккейным матчем чемпионата мира, я был поражен поступком канадского тренера, команда которого против своего обыкновения проигрывала. В самом конце игры, когда до финального свистка оставалось всего две секунды (!), он произвел разрешенную правилами замену вратаря шестым полевым игроком. Кто хоть немного разбирается в хоккее, знает, что с преимуществом в одного или даже двух игроков шанс забросить шайбу за две секунды практически равен нулю или, если угодно, одному проценту. И все же канадский тренер решил использовать этот один процент. Не помню уж, удался его замысел или нет. Кажется, все-таки нет. Но вот сам порыв! На мой взгляд, это был не столько порыв отчаяния, хотя можно назвать его и так, сколько неколебимая, какая-то инстинктивная или, скорее, наоборот — сверхсознательная установка на борьбу до последнего шанса, до последней секунды.

*If you can fill the unforgiving minute  
With sixty seconds' worth of distance run...  
Если каждую секунду ты, как спринтера удачу, ценишь,  
Жизни невозвратной понимая быстрый бег...*

Размышляя впоследствии над этим эпизодом (не тогда, в юности, когда он мне показался не более чем курьезной выходкой тренера, а лишь много позже), я пришел к выводу, что даже если тот тренер практически и не рассчитывал на успех своего последнего шанса, то все равно он пошел на этот шаг скорее всего не без

далеко идущего расчета, не без конкретного психологического и педагогического намерения. Он хотел этим показать своей команде (да и болельщикам) свою принципиальную и как бы ничем — даже здравым смыслом — не ограниченную нацеленность на победу — не в этом матче, так в последующих. Он демонстрировал этим свою позицию бойца — бескомпромиссного и в конечном счете удачливого. Тем самым он внушал и всей команде психологию победителей. А что в спорте, как и вообще в жизни, важнее этого?

Постепенно принцип «последнего шанса» стал все больше входить в мою жизнь, покаясь своим максимализмом, своим эффектом «бульдожьей хватки», то есть порывом вести борьбу всерьез и до конца. В чем же конкретно состояла техника реализации этого принципа в моем варианте, то есть применимая не к решению проблем ученого, музыканта или спортсмена, а именно к решению моей задачи — языковой?

Вот здесь мы и подошли вплотную к самому основному приему этой главы, а может быть, и всей книги. Ведь как раз ему, без преувеличения, процентов на 70, если не больше, я и обязан в конечном итоге достаточно быстрым и качественным овладением двумя иностранными языками. Да, уважаемый читатель, именно то, о чем я расскажу чуть ниже, и стало для меня в свое время своеобразной «машиной времени», но не в смысле переноса в прошлое или будущее, а, наверно, в еще куда более важном для современного человека отношении — продуктивном и «интенсивном» пребывании в настоящем. Собственно, приемом как таковым он, пожалуй, и не является, так как не предполагает какой-то особой технологии и последовательности проведения. Это, скорее, стиль работы, а в какой-то степени и стиль жизни, поскольку его действие и применимость можно кратко выразить двумя словами: «везде» и «всегда». Однако для простоты я буду и дальше называть его приемом. К непосредственному выходу на него меня тогда подтолкнуло все еще сохранявшееся во мне ощущение несовершенства во взаимоотношениях со временем. Я видел, что даже при всех моих кое в чем удачных попытках следовать примеру некоторых выдающихся личностей мне явно не хватало еще некоего объединительного, стержневого приема, который бы и заставил закрутиться, заработать всю мою «машину времени».

И вот как это иногда бывает в жизни, когда в трудные минуты мы обращаемся к своему прошлому за моральной поддержкой или советом, так и я на этот раз интуитивно осознал необходимость погрузиться в воспоминания о своей юности, особенно о студенческих годах. Вспомнились лекции, экзамены, подработки на хлеб насущный да и на джинсы, тогда почти недоступные, словом, обычные студенческие *tension and relaxation* (напряжения и расслабления). Но самое удивительное, как мне теперь представилось, было то, что ведь время тогда оставалось еще и на отдых, и на развлечения. Откуда оно бралось?

На этом этапе своих воспоминаний я почувствовал, что от правильного ответа на поставленный вопрос для меня сейчас зависит очень многое. Итак, учеба шла, экзамены сдавались. Ага! А как же я готовился к экзаменам? Ну конечно, как все нормальные студенты — за 2-3 дня. Вот-вот. А не здесь ли и кроется ответ на мой, казалось бы почти риторический, вопрос? Ведь что происходило в эти 2-3 необыкновенных дня? Я с головой погружался в учебный материал. Я ел, пил, передвигался по квартире с учебником в руках, почти как сомнамбула. Уходили куда-то все посторонние дела, мысли, чувства. Мы оставались наедине — я и учебник. Казалось, даже время замирает возле нас. Стоп! Еще раз: «...передвигался по квартире с учебником в руках... Казалось, даже время замирает возле нас». Вот оно! Главные слова, кажется, и здесь наконец-то сказаны. Быть может, это и есть искомый ответ? Но одновременно и рецепт к оздоровлению моей нынешней критической ситуации со временем? Мысль моя устремилась в конкретно обозначенном направлении. А не могу ли я и сейчас использовать эту студенческую тактику, только применительно к изучению иностранного языка? Даже если и без такого тотального ухода от окружающей действительности, немного в более мягкой форме? Но зато в гораздо более протяженных во времени сроках, то есть, к примеру, не в течение 8-10 дней, которые в среднем требуются студенту для подготовки и сдачи нескольких экзаменов, а, скажем, в течение полугода или целого года, которые мне нужны для самостоятельного овладения языком? Почему бы и нет?

*A ray of hope* (луч надежды) блеснул. Всем своим существом я почувствовал, что это было именно то, что я так долго искал (искал где-то вдалеке, а оказалось — вот оно, рядом) и что, кажется, мне удастся теперь с помощью этой идеи запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда своей мечты, как ни высокопарно это звучит!

И я начал реализовывать эту идею. Поначалу с осторожностью и некоторым сомнением: ведь одно дело штурмовым путем сдавать экзамены и другое — сделать эту штурмовщину «цивилизованной», то есть последовательной и упорядоченной, достаточно продолжительной и неуклонной, а главное, как бы естественной. Иначе говоря, сделать ее неотъемлемой и к тому же в чем-то приятной и увлекательной формой жизни, даже во многом и самим образом жизни.

Но постепенно я все лучше включался в новый для себя ритм, в новую систему отношений с иностранным языком, более того — с самим собой. Моим первейшим лозунгом и девизом теперь стало: "Zeit gewonnen, alles gewonnen" («Выиграть время — значит, выиграть все» - нем.). Что же я делал? А я «просто-напросто» вообще отказался от таких понятий, как «учебное время», «рабочее время», «время для отдыха» и так далее, то есть в принципе прекратил сортировать время по его традиционному назначению. Я теперь не отделял информацию от времени. Я их как бы слил воедино, при этом ощущив себя включенным в сплошной и бесконечный поток информации и времени. В результате все эти 8-10 месяцев, что мне потребовались на изучение английского, я словно бы пробыл в каком-то другом измерении, в другом состоянии сознания.

Как помнит читатель, моими главными средствами и орудиями при изучении языка были книги, бумага с ручкой, радиоприемник. Так вот теперь эти средства, особенно книги, я сделал неотъемлемой частью... своего тела. Да, да, не души даже — что и так само собой разумеется, — а именно тела. Поясню.

Известно, что поведение человека часто обуславливает среди прочих, и один простой закон житейской психологии: чем доступнее для человека делается какой-либо интересующий его объект, тем выше вероятность того, что он этим объектом вскоре воспользуется. Например, если книга, которую мы давно хотим прочитать, стоит на самой верхней полке книжного шкафа, да еще во втором ряду, да к тому же намертво стиснута там

соседними томами, то она скорее всего будет там стоять еще очень долго. Ведь чтобы ее достать, надо взять стул, встать на него, дотянуться до верхней полки и с изрядным усилием ее оттуда «вылущить». Но если, наоборот, эта книга абсолютно для нас доступна — вот она, рядом, здесь, — то даже при самой большой своей занятости мы ее наверняка, если не сегодня-завтра, то уж в самом скором времени возьмем в руки и хотя бы перелистаем. Собственно, этот житейский закон можно объяснить наличием у многих из нас такого «популярного» качества, как обычная лень. Точнее, смесь лени физической (надо куда-то лезть, искать, доставать) с ленью духовной («Не горит, обойдусь пока без той книги, в лес не убежит»). Носителям такой «лентяйской» психологии (среди коих, не скрою, весьма долго пребывал и я), как правило, невдомек, что для того, чтобы «горело», надобно не только почаще «разжигать» в себе огонь духовной страсти, но и использовать при этом кое-какие маленькие, чисто технические «хитрости». Что же делать! Если с ленью трудно подчас бороться напрямую — слишком уж могучий противник, — то надо попытаться ее перехитрить, а это уже проще. Скажем, в данном примере с книгой такой хитростью могла бы стать организация для себя условий максимальной доступности информации (книги), чтобы «не лезть за ней на полку», а чтобы она сама постоянно напоминала о себе, чтобы она ежеминутно тормошила нас, будила в нас периодически засыпающий интерес к ней. «Но как же этого достичь? — спросит немного озадаченный читатель. — На шею себе ее, что ли, на цепочке повесить или просто засунуть в карман?» Нет, конечно, не вешать, не засовывать ее никуда не надо — толку тогда от нее будет не больше, чем и от той, что мирно дремлет в нашем шкафу. Толк же будет только в одном случае: книгу на иностранном языке, которую мы в данное время читаем (сегодня, завтра, послезавтра), нельзя ни на минуту выпускать из рук в самом прямом смысле. Ее надо непрерывно — насколько это, конечно, позволяют обстоятельства — держать в той или другой руке. Надо непрерывно поддерживать с ней осязательный контакт (один лишь зрительный контакт бесполезен — не срабатывает). И вот лишь в этом-то случае мы перестанем наконец забывать или игнорировать даже на одну минуту главную для нас сегодня книгу, а значит, и главное на сегодня дело, то есть изучение языка, изучение, которое теперь происходит в режиме *pop stop*.

Да, понимаю, этот прием кажется довольно странным и, главное, трудновыполнимым. Но заверяю: так кажется лишь поначалу. Все здесь в наших руках как в переносном смысле, так и в прямом. Да, это жесткий прием, но зато он обеспечивает реальное обучение. Он заставляет человека все время двигаться вперед — альтернативы нет. Или — или. Или всегда вперед или откажись от этого приема совсем. Пользоваться им эпизодически нет смысла. Он отвергает половинчатость.

Когда я начал целеустремленно его практиковать, то очень быстро заметил впечатляющий эффект. Этот прием меня как бы автоматически организовывал. К примеру, если раньше я в течение вечера (я уж не говорю про выходные дни) мог по многу раз прослоняться из комнаты на кухню и обратно почти бесцельно или по каким-то рутинным делам мог потратить массу времени на не очень-то важные разговоры с домочадцами или по телефону, то теперь время как-то разом стало моим союзником и помощником. И всего-то благодаря такой малости, такого совсем неприметно-неброского *modus operandi* (способа действия — лат.). Почему так? Все дело здесь, на мой взгляд, в непосредственном телесном контакте, точнее, в психологии такого контакта. Ведь книгу, которую мы держим в руках, мы **вынуждены** ощущать, а значит, принимать к сведению ее наличие, ее существование, считаться с ним, реагировать на него, и, следовательно, мы уже не можем не использовать эту книгу по назначению. Уже не говоря о том, что даже только одним своим присутствием в наших руках книга просто физически мешает нам заниматься чем-то другим, кроме как ею самой. Но вот мы положили эту книгу на стол или поставили на полку, даже совсем рядом с собой. И все. Непосредственный, живой контакт с нею прерван, а значит, потерян. Мы можем периодически бросать на нее пристальные и многозначительные взгляды — эффект будет никакой. Книга нам больше «не мешает». Она уже не раздражает нервные окончания наших пальцев своей массой и своей шершавостью, и потому нейроны нашего мозга, «ответственные» за эти ощущения, теперь отдыхают. Спят. И они могут спать спокойно, ведь объект — книга — уже **вне нас**, он уже **не наш**, он уже где-то там (даже если он совсем рядом), он уже отделен от нас, отринут. А то, что отринуто, то и забыто или во всяком случае отодвинуто в нашем сознании на задний план. И даже то микродвижение и то миниусилие, что требуется нам, чтобы опять взять книгу со стола или с полки и открыть ее, часто становятся непреодолимым барьером на пути к ней, как это ни странно. Такова уж психология нашего взаимодействия с окружающей средой, работающая в чем-то по типу известной игры: «холодно, теплее, очень тепло, горячо». Но «горячо» бывает только в эпицентре события или объекта, и потому только он нас по-настоящему и интересует, и привлекает. Ко всему остальному — равнодушие или, в лучшем случае, формальное отношение и рассеянное внимание.

Раскусив всю эту несложную, хотя и не вполне очевидную на первый взгляд механику, я стал теперь общаться с нужными мне книгами столь же тесно и нежно, как студент общается со своими учебниками накануне экзамена, или, скажем, как глубоковерующий человек общается с Библией. Я плотно прильнул к читаемой книге, образно выражаясь, впился и вцепился в нее. Я слился с ней физически и духовно. Я организовал себе не ограниченное почти никакими рамками и условиями обучение, почти тотальное обучение. Где бы я в данный момент ни находился — сидел в комнате за столом или у секретера, лежал на тахте, сидел на кухне или в коридоре у телефона, — всегда у меня в руке пребывала книга в раскрытом виде (это мог быть также словарь, учебник, сборник текстов и пр.), куда я весьма сосредоточенно смотрел. Даже во время еды я не отделял книгу от себя, не клал ее на стол, понимая, что в этом случае психологически притяжение к ней сразу ослабнет. Я ее приспособлял на коленях, но, конечно, не читая при этом, а лишь изредка (в среднем один раз в минуту) бросая на страницу внимательные и жадные взгляды (может быть, даже более жадные, чем на тарелку с борщом или домашними котлетами), тренируя заодно объем внимания, т. е. способность за единицу времени — в данном случае равную одному не очень долгому взгляду — «схватить» максимальное количество информации. Даже во время телефонного разговора я держал книгу в руке и умудрялся не только поддерживать связанный диалог со своим ничего не подозревающим товарищем на другом конце провода, но и пробегать цепким



взглядом по строчкам английского текста, ориентируясь на знакомые слова и пытаясь понять хотя бы общий смысл фразы или всего абзаца.

В том же случае, когда я просто не мог держать книгу в руках (гладил брюки, прибывал гвоздь и пр.), я клал ее на видное место и как можно ближе к себе, чтобы по окончании хозяйственной работы тут же — без секундного промедления — вновь слиться с ней в одно целое, сделать ее частью себя.

Такое же отношение к книге я практиковал и вне дома. На улице, в транспорте, в любой, самой небольшой, очереди (в магазине, в аптеке, в парикмахерской и так далее), то есть везде, где обстоятельства благосклонно предоставляли мне хотя бы 30 секунд «осколочного» времени, я не мешкая старался выжать из него как можно больше пользы. Натренированным движением руки я извлекал из кармана или сумки небольшую книгу, раскрывал ее на заложенной странице и успевал за считанные мгновения выудить оттуда какую-то информацию (прочитать, как правило, от одного до трех-четырёх предложений). Скажу, что мне даже нравились эти мини-атаки на текст, так как такое чтение — урывками — оказывалось в итоге более продуктивным, нежели чтение в спокойных условиях. Ведь за эти секунды или минуты приходилось волевым образом напрягать и активизировать свои интеллектуальные возможности — иначе не было смысла и книгу доставать из кармана.

Памтятя же опыт профессора Любищева, который изучил английский язык в основном, как он сам отмечал, благодаря ежедневным поездкам на работу в неторопливых ленинградских трамваях (дело было в 20-30-е годы), я теперь тоже неплохо освоил технику изучения английского и немецкого, как я ее назвал, «ТТ-студии» («Трамвайно-троллейбусная студия»), добавив к ней и метро. А это было почти искусство — в пути-дороге усердно заниматься языком. Так, протиснувшись в салон, надо было сразу и безошибочно найти в нем наиболее укромное и спокойное место, сидячее или стоячее — неважно. Далее оставалось достать свою дорожную книжку и тотчас, дергаясь и покачиваясь, углубиться в сюжет, абсолютно не замечая разговаривающих, кашляющих, мрачно сосредоточенных на чем-то или нервно озирающихся соседей. Если же я ехал в *rush-hour* (час пик) и оказывался стиснут кругом так, что не только читать, но и дышать становилось едва ли возможно, то здесь-то и наступали, как ни странно, лучшие минуты для моего самообучения. Не обращая опять-таки внимания на внешние неудобства, я прикрывал глаза и почти с философским спокойствием погружался в мир своих лингвистических воспоминаний. Я обычно предпочитал в таких условиях оживлять в памяти свои любимые английские и немецкие стихи, отрывки прозы, афоризмы. Но, пожалуй, полезнее всего для меня оказывались мои собственные нехитрые языковые импровизации игрового характера, поначалу — самые простые. Например, я ставил себе задачу: на любую букву латинского алфавита вспомнить все известные мне английские слова. Скажем, на "B" в голову сразу приходили: *book* (книга), *bird* (птица), *bear* (медведь), *beast* (зверь), *boat* (лодка), *bridge* (мост), *bag* (мешок, сумка), *banner* (знамя), *beer* (пиво), а после некоторых раздумий всплывали и еще несколько: *brain* (мозг, разум), *beard* (борода), *bush* (куст), *blaze* (пламя, вспышка), *breathe* (дышать), *beverage* (напиток), *breezy* (прохладный), *blithe* (веселый).

Или делал так: брал наугад 2-3 известных мне английских слова и, составив из них самое простое предложение (например,

*"A man is walking along the street"* — «Человек идет по улице»), начинал затем последовательно варьировать все слова этого предложения (скажем, так:

*"A young man with a dog is running in the park"* — «Молодой человек с собакой бежит по парку»,

*"An old man with a bag is walking along the embankment"* — «Пожилой человек с портфелем шагает по набережной») и так далее.

Наконец, я практиковал это и в такой форме: от любого на ходу «изобретенного» предложения переходил к небольшому рассказу на его тему, особо невзирая на всякие несуразности в «сюжете», лишь бы грамматически все было более-менее правильно. Например, брал предложение:

*"The moon was shining in the sky"* («В небе светила луна») и принимался раскручивать на эту тему самую незамысловатую фантазию — либо сначала по-русски с синхронным переводом на английский, либо сразу по-английски. Скажем, так:

*"The moon was full and bright"* — «Луна была большая и яркая»;

*"It was shining almost like the sun"* — «Она светила, почти как солнце»;

*"But the moon is much smaller than the sun"* — «Но луна намного меньше солнца»;

*"The moon shines at night, the sun shines during the daytime if there are no clouds in the sky"* — «Луна светит ночью, солнце светит днем — если нет облаков»;

*"One can see a lot of stars in the sky at night"* — «Ночью на небе можно видеть много звезд»;

*"Space stations fly round the Earth"* — «Вокруг Земли вращаются космические станции»;

*"People live and work there"* — «В них живут и работают люди»;

*"They spend a lot of months there"* — «Они проводят там по многу месяцев»;

*"It's a very difficult and dangerous job"* — «Это сложная и опасная работа»... и так далее.

Так я мысленно и упражнялся в пути, пока хватало запаса английских слов по избранным темам и пока не надо было покидать уже ставшей за эти 10-20 минут поездки милой моему сердцу (даже при полном комфорте) «ТТ-студии». Когда же поспевала моя остановка, я выходил из вагона с чувством неплохо проведенного времени.

Таким вот образом я повсеместно и реализовывал идею «последнего шанса». Ведь эти 1-2 минуты в очереди, или 10-20 минут в транспорте, или где бы вообще это ни было я рассматривал теперь как последний свой шанс во что бы то ни стало дочитать до конца этот абзац или эту главу, любой ценой вспомнить значение этого английского слова или понять смысл этой идиомы. Причем вскоре я заметил, что однажды вступив в этот бесконечный поток — поток времени, творческого времени, — я настолько быстро и естественно втянулся в него, что в дальнейшем, и довольно скоро, стал испытывать к нему уже едва ли не подсознательное и вполне произвольное влечение, все более настоятельное и захватывающее. Ну что же — ведь я к этому и стремился.

Очевидно, именно такой стиль жизни, такой *modus vivendi* (образ жизни — лат.) я как мог и искал, как мог и нащупывал прежде.

Мудрецы учат, что каждый день на этом свете мы должны проживать так, как если бы он был последним в нашей жизни. Я же мог теперь сказать о стиле своей жизни следующее: «Каждый день я проживаю так, как если бы этот день был последним перед государственным экзаменом по иностранному языку». Да, это были уже не отдельные элементы системы, а именно стиль жизни с намеренным и достаточно глубоким погружением в иностранный язык. Стиль жизни, который приучал меня как к внезапно-моментальному сосредоточению, невзирая ни на какие неблагоприятные условия окружающей обстановки, так и к быстрому, даже скоростному темпу извлечения необходимой информации.

Помимо этого принцип «последнего шанса» вырабатывал у меня психологию «неторопливо поспевающего» человека — вспомним великолепную суворовскую мысль: действуй «не торопясь, но поспеша». Для меня это поучение великого полководца было особенно актуально: обладая едва ли не обломовской инертностью, я поначалу с большим трудом включался в новый для себя ритм жизни, с трудом усваивал науку делать что-то быстро, но качественно, «поспеша», но не наспех. И в этом мне с каждым днем все больше помогало ощущение правильности моей тактики «овладения временем»: я теперь действительно чувствовал себя человеком, который не только не теряет время впустую, но который каждую минуту и секунду нацелен на решение своей задачи и потому по-настоящему уважает и культивирует в себе это ценнейшее в жизни качество — качество неустанного «охотника за секундами», культивирует эту способность как бы выпадать из общего для всех потока времени, ощущать себя вне времени и, значит, быть хотя бы отчасти не зависимым от него.

Однако я не хочу вызвать у читателя ложного впечатления, что в результате всего этого я превратился в некое роботообразное существо, запрограммированное на непрерывную (с привкусом безысходности) работу по чтению, переводу и запоминанию иностранных текстов и слов. Нет, конечно. Даже в самые насыщенные периоды этого довольно длиннопротяженного напора и натиска на иностранные языки я отнюдь не забирался исключительно в скорлупу этих языков, не превращался в анахорета не от мира сего. Парадокс: чем больше я уплотнял свою жизнь и свое время, тем больше возможностей появлялось для каких-то дополнительных дел и занятий. Каким-то образом я умудрялся краем глаза заметить что-то на экране телевизора (конечно, только то, что уж очень могло меня там заинтересовать), и просмотреть любимую газету, а иногда и прочитать книгу на родном русском языке просто для души или рабочей необходимости. Я уж не говорю о своих систематических паломничествах в музеи, концертные залы, о загородных прогулках. И хотя все это совершалось с сильным лингвистическим уклоном, но я ведь при этом получал и большую эстетическую, физическую и еще какую угодно пользу и удовольствие, реально ощущая на себе самом всю — ранее непонятную и недоступную мне — справедливость давно известной мысли: *"The busiest man finds the most leisure"* («Самый занятый человек находит больше всего досуга»).

Так я решил для себя проблему времени, наверное, самую острую из всех остальных. Конечно, не идеально решил: отдых, некоторые развлечения да и часть профессиональных дел пришлось пока отложить. Но, с другой стороны, постепенно и многие развлечения, и прежний, зачастую бессмысленный, отдых потеряли для меня былую привлекательность, и я их просто заменил на более приятное для себя, целиком поглощающее и во многом романтическое занятие — изучение, совершенствование и, при возможности, практическое использование одного, а затем и второго иностранного языка. Разве я от этого проиграл?

И последнее. Тем из читателей, кто сочтет предложенный прием общения с книгой слишком для себя утомительным или вообще нереальным, я все же рискну на этот раз — в виде исключения — настойчиво посоветовать: поживите в таком активном режиме хотя бы две-три недели, и вы уже увидите первые результаты. Вы ощутите истинную плотность времени, его упругость и жесткость, его податливость и пластичность и его доброжелательность по отношению к вам. Вы узнаете настоящую его цену. И еще вы увидите, что такой стиль жизни и работы, такой ритм чтения и вообще изучения иностранного языка не станет для вас особо обременительным и тем более жертвенным. Напротив, вы почувствуете себя легко, уверенно и независимо — от проблем вашей инертности и якобы хронического недостатка столь драгоценного для вас времени.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

В этой книге я попытался не только изложить ряд способов и идей, которые помогли мне самостоятельно и активно изучить два иностранных языка, но и показать не очень простой, подчас болезненный, процесс их зарождения или их поисков, а также их подстыковки к своим возможностям — как в интеллектуальном отношении, так и в чисто житейском.

Я попытался также вовлечь и читателя в этот процесс, сделать его не просто наблюдателем, но и соучастником моих размышлений и сомнений, неудач и, возможно, некоторых находок.

Наконец, я попытался наглядно показать, что изучение иностранных языков, даже лишь одного или двух, — дело очень занятое и творческое, и каждый может при желании найти в нем какие-то свои, только для него подходящие приемы и способы. И поэтому прав, очевидно, будет тот читатель, который не только воспользуется описанными здесь приемами, но постарается и сам в чем-то их дополнить, усилить и разнообразить.

Оглядываясь сейчас на весь свой относительно короткий, но интенсивный, немного своеобразный и в итоге эффективный процесс языкового самообучения, я хотел бы в качестве основного вывода и одновременно пожелания своим читателям отметить: только собственные непрестанные и методичные попытки в чем-то разобраться, найти приемлемый выход из того или иного затруднения, не убоившись при этом неудач и разочарований, найти свой радостный путь, свою заманчивую тропинку в прекрасную страну языка — только это и может привести к реальному и достаточно скорому успеху в овладении иностранным языком. Да, именно так: особо не уповая на чью-то помощь (но при случае и не отвергая ее) и не жалея затраченных сил и вре-

мени, — эти затраты пойдут только на пользу. Да и ведь не зря говорят: *"You can't make an omelet without breaking eggs"* («Не разбив яиц, не сделаешь яичницы»).

**Успеха!**